



КАЗАЧЬИ РОМАН

С ЕРМАКОМ НА СИБИРЬ



ПЕТР
КРАСНОВ

Казачий роман

Петр Краснов

С Ермаком на Сибирь (сборник)

«ВЕЧЕ»

1935, 1922

Краснов П. Н.

С Ермаком на Сибирь (сборник) / П. Н. Краснов — «ВЕЧЕ»,
1935, 1922 — (Казачий роман)

Издательство «Вече» продолжает публикацию произведений Петра Николаевича Краснова (1869 – 1947), боевого генерала, ветерана трех войн, истинного патриота своей Родины. Роман «С Ермаком на Сибирь» посвящен предыстории знаменитого похода, его причинам, а также самому героическому – без преувеличения! – деянию эпохи: открытию для России великого и богатейшего края. Роман «Амазонка пустыни», по выражению самого автора, почти что не вымысел. Это приключенческий роман, который разворачивается на фоне величественной панорамы гор и пустынь Центральной Азии, у «подножия Божьего трона». Это песня любви, родившейся под ясным небом, на просторе степей. Это чувство сильных людей, способных не только бороться, но и побеждать.

© Краснов П. Н., 1935, 1922

© ВЕЧЕ, 1935, 1922

Содержание

С Ермаком на Сибирь	5
I	5
II	8
III	11
IV	13
V	15
VI	17
VII	19
VIII	21
IX	24
X	27
XI	30
XII	33
XIII	35
XIV	40
XV	44
XVI	46
XVII	50
XVIII	52
XIX	54
XX	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Петр Краснов

С Ермаком на Сибирь (сборник)

С Ермаком на Сибирь

I

Пожар в Москве в 1581 году

– Ай, батюшки!.. Горим!..

С треском откинулось окно, забрунжало слюдою, и тревожный, душу раздирающий женский крик понесся по ночной улице.

– А-а-а-й!.. Спаси-ите!

В тесное узкое окно девичьего терема во втором ярусе бревенчатой избы с натугой протиснулась перина в красной кумачовой наволочке и полетела на снег. За периной стала пролезать простоволосая женщина в белой сорочке... Застряла в окне... Мукой исказились громадные глаза. Она завизжала еще раз протяжно: «спасите»... – и смолкла.

Разом в окно метнулось широкими алыми языками пожарное пламя, и женщина исчезла в нем. Над крышею повалил черный дым. Загудел огонь.

На соседней церковной колокольне забил набатный колокол. Зимнее небо подернулось розовым заревом, отражая пожар.

Москва горела.

Еще прошло несколько мгновений. Улица оставалась пустой. Крепко спала древняя Москва. Не сразу услышали в теплых и душных покоях медные зовы набата. Крики гибнущих на пожаре людей заглушены были воем пожарного пламени.

Но вот – то тут, то там стали растворяться ворота. Испуганные, наспех одетые люди выбегали на улицу, выносили сундуки и увязки. Другие с ведрами в руках лезли на крыши, готовясь заливать летящие из костром пылающих домов красные пожарные «галки» – раскаленные головни.

Москва была деревянная. Бревенчатые срубы, тесовые крыши, соломой крытые амбары, сено и солома на сеновалах, деревянные смоленые частоколы, сосновые бревна давали пищу пожару.

Загорелось в торговых рядах, близ Яузы, в меховой палате купца Чашника.

Бороться с огнем?.. Чем?.. Пожарных насосов Иоаннова Москва не знала. Кто поближе к пожару – спасал, что может. Запрягали сани, грузили домашнюю рухлядь, выучили лошадей – уходили, куда глаза глядят. Подальше от огня.

Кого еще не настигло пламя, тот таскал ведрами воду, отстаивал что можно. Снегом забрасывали стены домов.

Тихая ночь наполнилась криком и гамом людей. Ржали потревоженные лошади. Прискакали царские опричники, сгоняли народ заливать огонь, топорами рубить и баграми раскидывать крыши.

Народ стоял толпами в улицах и смотрел, как утихало пламя в одном месте и вспыхивало в другом, как черными остовами рисовались в огне дома и с треском рушились, посылая в небо столбы пламени и тучи опасных зловещих «галок».

Плакали, причитая, женщины. Из церквей выходило духовенство и с молебным пением обходило церковную ограду. Только Бог мог спасти от пожара.

При первых звуках набата стрелецкий сотник Стефан Филиппович Исаков растворил настежь в морозную ночь окно и высунулся по пояс посмотреть, где горит.

Горело далеко на Яузе, за пять кварталов от него, за большим садом князя Серебряного. Исаков широко перекрестился, достал из кармана медную расческу, расчесал волосы и бороду и крикнул слуг.

– Разбудите-ка Марью Тимофеевну, да Наталью Степановну. Пускай одеваются... Мало ли что? До греха не долго – и вся Москва запылает. Да сбегайте за Селезнеевым, пусть придет...

Исаков надел теплую шубу и сел у окна наблюдать за пожаром. Зарево бросало розовые отсветы в горницу, играло на окладах икон, на оружии и оловянных блюдах, висевших по стенам.

Жена Исакова и дочь – девочка четырнадцати лет, Наташа, кутаясь в шубы, спустилась из терема. Стрелецкий жилец¹ вошел в избу и доложил о приходе Селезнева.

– Войди, Василий Ярославич.

Старый дворянин вошел в потертой шубе.

– Садись, Ярославич... Спать все одно не придется. Видишь, как пылает, – сказал Исаков.

– А знаешь где? – хриплым со сна голосом сказал Селезнеев.

– Ну?... В торговых рядах подле Китай-города.

– Во... во! У самых у Чашников! Вот оно где! На Яузе. Я шел – опричник Егоров с пожара скакал, сказывал – все погорели... Чашники-то!

Марья Тимофеевна тихо опустила на колени перед иконами. Девочка горько заплакала.

– Не скули, Наташа... Может, и живы, – сумрачно сказал дочери Исаков. – На все предел от Господа положен.

– Пусть плачет, – обернулась от икон Марья Тимофеевна. – Счастлив, кто, умиляясь душою, может плакать и молиться... Сколько людей опять погибнет! А Чашники, чай, не чужие люди, сам знаешь!

– Лучший друг. Старый наш боевой соратник... Казанский, – точно про себя, негромко сказал Исаков. – Да не вижу надежды, чтобы спаслись... Как пылает Москва! Такое несчастливое видно уже выдалось царствование царю Ивану Васильевичу... А помнишь, Ярославич, страшный 7055-й год². Какая тогда ужасная была весна!.. 12 апреля сгорели лавки в Китай-городе с богатыми товарами, гостиные казенные дворы, Богоявленская обитель и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки. Высокая башня, где хранился порох, взлетела на воздух с частью городской стены, упала в реку и запрудила ее кирпичами.

– И теперь не мало погорит товара, – вздохнул Селезнеев. – Одних Чашников взять – сколько мехов погибнет!.. Драгоценных!..

– А мне все та весна поминается. Великие тогда были пожары! 20-го апреля все улицы, где жили гончары и кожевники, обратились в пепел. Помнишь?... Уже не поджоги ли то были, чтобы досадить молодому царю?... 21-го июня, около полудня, в страшную бурю загорелось за Неглинной, на Арбатской улице, у церкви Воздвижения. Вспыхнули Кремль, Китай-город и Большой Посад. Вся Москва пылала. От дыма было темно, как ночью. Я уже юношей был, – хорошо те пожары помню. Деревянные здания сгорали, как солома, каменные рушились, железо рдело, как в горниле. Расплавленная мед текла. Рев бури, треск пламени, вопль сгорающих людей временами заглушались взрывами пороха. Спасали только жизнь. Богатства гибли. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели в том ужасном огне. Митрополит молился в храме Успения. Он задыхался от дыма. Его силою вывели из храма и хотели на веревке спустить с тайника к Москве-реке.

¹ Конный стрелец, они набирались из дворянских детей московских.

² До Петра Великого летосчисление в России шло от сотворения мира, которое считалось за 5508 лет до Рождества Христова. Таким образом 7055-й год соответствовал 1547-му году.

Он упал, расшибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь. Из собора вынесли только образ Марии, писанный св. Петром Митрополитом, и «Правила Церковные», привезенные Киприаном из Константинополя. Владимирская икона Богоматери оставалась в храме. Но огонь, разрушив кровлю и паперты, не проник внутрь церкви. От Арбата и Неглинной до Язвы и до конца Великой улицы, Варварской, Покровской, Мясницкой, Дмитровской и Тверской ничего не уцелело. Деревя садов обратились в уголь, трава в золу. Сгорело 1700 человек, не считая младенцев!

– Господи! – простонала у божницы Марья Тимофеевна. – Буди милостив нам, грешным!

– Оттого, Ярославич, как пожар в Москве, беспокойно мое сердце. Все те времена мне вспоминаются. Все вижу людей с опаленными волосами, с черными лицами, все слышу их дикий звериный вой. Ходили они по пепелищам и не находили близких...

– Нынче, – сказал Селзнеев, – зима. Все снег какую ни на есть препопу огню положит.

– А Москва погорит?.. Сколько лишенных крова людей замерзнет!..

– Погорит и снова отстроится. Помнишь, в то же лето стали отстраивать Кремлевский дворец, богатые восстанавливали свои хоромы.

– А о бедных забыли! И оттого – бунты и кровавые казни! Помню, как в толпе кричали царю, что Глинские³ жгли Москву. Мать их, Анна, будто вынимала сердца из мертвых, клала в воду и кропила тою водою улицы, езда по Москве – и оттого пожары! Как все было страшно тогда! Тридцать четыре года прошло с той поры. Из отрока стал я стариком – вот дочь невеста растет, а как услышу набатные зовы – не найду нигде покоя.

– Молись! – сурово сказала Марья Тимофеевна, все не встававшая с колен. – Молись за Чашников! Ужели приняли они смерть в губительном огне?

Страшно было ее лицо, искаженное мукой. Из окна набегали на него красные, огневые отсветы. От иконы, от затепленных свечей лился мягкой, теплый свет и ложился на бледные щеки и на потухшие глаза. Рядом горько, неутешно плакала ее дочь. Детским сердцем любила она Федю, сына Чашников, и знала из рассказов нянь, что Федор Чашник, ее суженый – ее будущий жених.

Всю ночь полыхало зарево. Набатный звон гудел над Москвою. Всю ночь полны шума, крика и тревожных вестей были улицы Москвы. Приходили вести и в дом Исакова. И первая была весть: Чашники все погорели!..

К утру огонь стал стихать. Остановленный садом князя Серебряного, он еще вспыхивал то тут, то там, на пепелище, где дымились красные уголья пожаришь.

Исаков с Селзнеевым поехали в санях разыскивать останки погоревших Чашников.

³ Родственники матери Иоанна IV – Елены Глинской, второй жены князя Василия Иоаннова, бывшей правительницей в детство Иоанново.

II Федя и Восяй

Дом Чашников – целая усадьба. Пять больших, бревенчатых срубов стояли под одной высокой, старой, тесовой, крепко просмоленной крышей. В трех передних, выходящих на улицу, были устроены лавки и склады мехового товара. Гаврила Чашник, когда-то удалой дворянский сын Государева конного полка, славный соратник князя Андрея Курбского в боях под Казанью, уже лет двадцать как занимался скупкой сибирских мехов и торговлей ими в Москве. У него был единственный сын Федор. Шел Федору пятнадцатый год, и Гаврила Леонтьевич приучал его к своему торговому делу. На Федоре лежало наблюдение за самыми дорогими мехами, и обыкновенно он спал в лавке, где с длинных жердей, протянутых под потолком, свисали нежные шкурки серебристого соболя, пушистые, с длинными хвостами шкуры черной лисицы, куньи меха, белые горностаи с черными кисточками на конце хвоста, котиковые шкурки и другой товар. Здесь у Феде, за оконным ларем, запиравшимся на ночь тяжелыми железными болтами, в боковуше была устроена постель, накрытая бараньим мехом; в боковуше крепко и терпко пахло мехами, Федя привык к этому запаху. Сбоку, вверху, было длинное узкое окно с рамою, заклеенною прожированною бумагою. Окно выходило во двор, окруженный частоколом. Дверь из лавки вела в дощатый проход, заваленный старыми ящиками, рогожами, стружками и разным хламом, за проходом была двухъярусная изба со светлицами его родителей. По другую сторону двери в длинной и узкой избе помещались меховщики – татары Зыран, Мичкин и Кач. Двор замыкался конюшнями. Над ними были устроены сеновалы.

В эту ночь Федя, как всегда после ужина, помолился вместе с отцом и матерью, получил от них благословение на ночь и со слюдяным фонарем обошел двор и лавки и осмотрел все запоры. Черная мохнатая сибирская лайка провожала его, следуя за ним шаг за шагом.

Федя по скрипящему под сапогами снегу подошел к боковуше и открыл дверь.

– Ну!.. спокойной ночи Восяй! – сказал он, ставя фонарь на землю. – Хорони нас крепко!

Собака поднялась на задние лапы, уперлась передними в грудь Феде и завильяла хвостом. Фонарь искорками отразился в черных умных глазах, и Феде показалось, что Восяй этим взглядом не то спрашивает у него что-то, не то сам ему что-то говорит.

– Слушай, Восяй. Если недобрый человек к нам заберется, а я твоего лая не услышу, прыгай в окно, – показал Федя на узкое окно боковуши. – Ты ведь чуткий.

Восяй поднял глаза к окну. Белок показался внизу черного зрачка. Восяй посмотрел на бумажный переплет, потянулся, упираясь передними лапами в Федину грудь, вильнул хвостом, точно сказал:

– Ладно уж! Не учи. Сам знаю, как поступить. Не маленький. Третий год с вами живу.

Федя понял Восяя.

– Ну да не мне тебя учить, – сказал он. – Ну, прощай. Покойной ночи!

Восяй прыгнул на землю и стоял подле Феде. Он знал, что еще не все кончено. Еще надо попрощаться, как следует.

– Ну... лапochку!

Восяй протянул правую лапу, и Федя пожал ее.

– Холодная какая!

Восяй, прищурившись, посмотрел на Федею.

– Ну, еще бы – со снегу-то! Я ведь, Федя, валенок не ношу, – как будто сказал он.

– Другую!

Федя пожал поданную ему левую лапу и, сев на корточки, прижался губами к широкому лбу собаки. Нежна была короткая шерсть на лбу. Руками Федя гладил собаку по спине и груди и чувствовал, как билось маленькое собачье сердце.

Федя вздохнул и встал. Прямо в глаза смотрела ему собака, и так глубок и выразителен был ее взгляд, что Федя подумал: «да собачья-ли у нее душа»? Он подхватил фонарь, отворил дверь и быстро шагнул в боковушу.

Крепко и горячо помолившись у иконы за батюшку с матушкой, за Исаковых, за Селезнева, за Мичкина, Кача и Зырана, православных татар, и – мысленно, не называя, – за Восюя, – Федя задул восковую свечу и улегся на бараньими шкурами покрытую постель. Кожаную подушечку «думку» подложил под щеку.

Хорошо! Тепло и уютно.

Из наступившего мрака синим прозрачным пятном обрисовалось окно. Студеная январская ночь стояла за ним.

Что-то Восюй? Не холодно ли ему в конуре?

И стал вспоминать Восюя.

Слепым щенком из далекой Сибири, из-за Каменного пояса – Уральских гор – привезли меховщики-вогулы Феде эту забавную игрушку. Федя поил его молоком с пальца, и было нежно обжатие маленького черного рта, и щекотал Федин палец крошечный розовый язычок.

И как-то весной, когда уже на дворе иглами из черной сырой земли стала пробиваться молодая зеленая травка и сладок был дух вдруг набухших тополевых почек, а солнце светило по-весеннему ярко, Восюй, лежавший на коленях у Феде, вдруг приоткрыл глаза. Огоньками заискрились они, отражая солнце. Восюй потянулся, прищурился, огляделся, и черные изюминки его остановились на добрых серых Фединых глазах. Восюй завизжал от охватившего его восторга.

Над Москвою плыли звоны колоколов. Была Пасха.

И солнечный свет, и нежное весеннее тепло, и запах молодой травы и тополя, синева бесконечного неба, и эти плавные колыхания воздуха где-то в далекой вышине – все это для Восюя слилось с мягким прикосновением Фединых рук, с его сияющими глазами, и все было понято Восюем – по-своему. Все от него, от этого мальчика. И Федя стал для Восюя как бы богом!

Потом пошел быстрый собачий век. За месяц собака развивалась, как человек за год; многое она поняла и переоценила, но первое впечатление осталось и вылилось в бесконечную любовь и собачью преданность Феде.

Восюй не расставался с Федей. Куда Федя, туда и он. Трудновато сначала давались маленькому неуклюжему пушистому щенку с короткими еще лапами высокие пороги Чашниковского дома. Едва переваливался он через них, а когда уже не было под силу, жалобно пищал, прося, чтобы его перебросили на ту сторону, за Федей.

Шутя, учился собачьим наукам и собачьему баловству. Скоро узнал, кто свои, кто чужие. Было забавно смотреть, как этот совсем маленький, пушистый черный щенок, злобно ерошил шерсть и хрипло тявкал, еще не умея лаять, на чужого, входившего во двор.

Играя, научился подавать лапку, носить поноску, приносить разные вещи. Часами слушал, что говорят люди, и понемногу узнавал мудреные слова человеческого голоса. И знал их уже немало.

К двум годам научился по запаху различать меха и приносить из кладовой тот, который ему назовут. Скажут ему: «Восюй, принеси лисицу!..» И Восюй кидался в кладовую, если мог, сам доставал лапами мех, хватал осторожно зубами и нес хозяину, виляя хвостом, с улыбкой под белыми острыми зубами. Покупатели, приходившие в лавку Чашника, всегда спрашивали:

– А что, собачка ваша дома?

– Дома. Куда же ей даваться.

– А ну, покажите, как она меха выбирает.

Федя звал со двора Восюя:

– А ну, Восюй, тащи нам связку собольков.

Связки собольков висли высоко под потолком, между других шкурок.

Восяй подбегал к ним, становился под ними и лаял до тех пор, пока Зырян, или Кач, или Мичкин не доставали длинным крюком соболей и не давали торжествующему Восяю.

– А ну-ка, Восяй! – Белку!

И через минуту уже стоял Восяй, чуть держа, едва касаясь зубами, нежный серый беличий мех. А покупатель или сам Гаврила Леонтьевич возьмут и пошутят:

– Что же ты, Восяй, обмишулился ведь. Тащишь белку, а я тебе приказал лисицу.

Какой упрек тогда был в глазах Восяя! Вылупит их, станут они большими, белки заиграют в углах. Глядит то на Федю, то на Гаврилу Леонтьевича и точно говорить:

– Зачем смеетесь надо мною? Я же отлично слышал, как вы сказали: – белку! У вас и рот оскалился трубочкой... я знаю. Лисица... Совсем другое у вас: – лисица... Тогда ваша пасть в – растяжку!..

И Федя не выдержит. Бросится обнимать Восяя.

Все это вспомнилось в эту холодную зимнюю ночь Феде. Тихо было в Москве. Порывами подувал ветерок, напирал на бумагу окна, шелестел по ней снежинками, разгонял думы и воспоминания. Тяжелела Федина голова, крепче прижималась к нагретой коже подушки. Стали неясны, обрывисты думы и крепкий сон точно унес Федю в какое то сладкое и отрадное небытие.

III

Восяй умница

Сквозь сон услышал Федя: точно пушка ударила. Еще... и еще... Не открывал еще глаз. Подумал, – когда послы английские к царю Иоанну Васильевичу приезжали, палили из пушек с Кремлевских башен и вот так отдавалось о бумагу окна.

Понемногу прояснялась, отходила от сна голова. Как же это ночью? Кто же приедет ночью?.. А может быть?.. Не напали ли татары на Москву? Федя вспомнил рассказы отца... Дед еще помнил, как до самой Москвы доходила татарская орда. Тогда прогоняли ее войском!

Открыл глаза и вскочил.

В розовом свете было окно. Польшалось теньями. Будто бы рано быть солнцу? Ужели он так проспал?

Черная тень метнулась за окном. С силой ударила в бумагу... Бумм!.. Вот оно что! – пушки напомнило. Что же это такое?

За окном лаял, визжал и выл Восяй. Это он кидался на окно, стараясь пробить голову бумагу и вскочить к Феде в боковушу.

Первая мысль Феде была: разбойники!.. Воры!.. Наскоро обувшись, накинув кафтанчик, подпоясавшись и засунув за пояс нож – все это разом, в одно мгновение, не размышляя, Федя раскрыл окно, и Восяй стремительно прыгнул в него и ворвался в боковушу.

За окном пылало небо, и был пожар.

Федя хотел открыть дверь в проход, чтобы бежать в родительские горницы, но Восяй бросился на него, вцепился зубами в руку и зарычал... Не пускает.

– Да что ты, Восяй?! – крикнул Федя. – Взбесился что ли?

Он отшвырнул Восю, но Восяй снова с визгом и плачем бросился между Федей и дверью.

– Восяй! – Угроза была в голосе Феде.

Он не видел, какими страшными, умоляющими глазами посмотрела на него собака. Он откинул ее в угол боковуши и быстро распахнул дверь.

Яркое пламя пылающих стружек и дикий дым ворвались в боковушу и сразу опалили волосы и лицо Феде. Он зашатался. Огонь отрезал Феде путь к двери во двор. Задыхаясь от дыма, он готов был упасть. Восяй бросился к Феде, прикрыл собою от огня, лизнул в лицо, и эта ласка в такой страшный миг вернула Феде сознание.

Собака тянула его к окну.

Федя влез на постель, ухватился руками за подоконник и, протиснувшись в узкое оконце, выпрыгнул на снег... Боковуша занялась огнем.

– Батюшка!.. Матушка!.. – крикнул Федя.

Никто не отозвался. Кругом бушевало пламя. Конюшня, горницы родителей, изба, где жили татары, были объаты пожаром. Крыши обвалились. Изо всех окон гудело пламя.

«Если они раньше меня не выскочили – все сгорели», – холодной змейкой пробежала мысль. Отмякли и стали бессильны руки и ноги, Федя оглянулся.

Путь был один – через частокол – в переулок. Федя перелез через бревна, спрыгнул и, все позабыв, в животном ужасе, побежал по переулку. Он задышался от дыма. Кругом горели дома. Было душно и жарко.

Пробежав шагов двести, Федя выбрался на более спокойные места. Здесь стали попадаться ему такие же обезумевшие люди, с черными от копоти лицами, с опаленными волосами. Кто бежал едва одетый, кто тащил какой-то ненужный хлам, а сам был без шапки.

Здесь тише был вой и рев пламени. Раздавались плач, вопли и причитания женщин, в огне потерявших детей.

У высоких берез за дощатым забором сада князя Серебряного стало совсем тихо, и Федя упал в сугроб, охлаждая снегом опаленное огнем лицо.

Без шубы и валенок, в легком кафтанчике-однорядке⁴, в простых козловых сапожках Федя стал замерзать. Вся величина, вся ужасная правда вдруг обрушившегося на него несчастья стала перед ним, и он, закрыв лицо руками, заплакал первыми слезами.

– Батюшка!.. Матушка!.. где вы?..

Сердце мальчика сжималось от ужаса. Он слышал гул пожара, набат, крики и вопли людей и боялся открыть глаза, повернуться туда, точно боялся увидеть во всей страшной грозности свое великое сиротское горе.

Вдруг Федя почувствовал такое знакомое прикосновение лап Восяя. Они стали ему на спину. Жаркое дыхание коснулось Федина уха, язык полохнул по щеке. Федя повернулся и открыл глаза.

От пожара было совсем светло. Восяй, опаленный, с посеревшей, скатавшейся в шарики шерстью, стоял против Феди.

– Восяй?! – сказал Федя... – Как же ты?.. Через частокол?

Восяй лег у ног Феди и зализывал раны на брюхе.

– Поцарапался... Ободрался... Восяй?!.. Чуть не погиб... Да ведь сироты мы с тобою!.. Круглые сироты!.. Нищие! Все потеряли... Некуда нам с тобою головы преклонить...

Восяй поднял морду. Он посмотрел на небо в кровавом зареве, потом в глаза Феди. Был строг и упорен взгляд черных собачьих глаз.

Потом Восяй уперся передними лапами в грудь Феди, смотрел ему прямо в глаза и ласково вилял обожженным, в лохмотьях шерсти хвостом.

Точно говорил:

– Не бойся! Со мною не пропадешь!.. Я же остался... Я твой... Весь твой?!..

– Да так-то так, Восяюшка!.. А только! – и Федя с рыданьем лег в снежный сугроб.

⁴ Кафтан-однорядка – однобортная одежда, напоминающая кавказский бешмет, надеваемый под черкеску.

IV На пожарище

Исаков с Селезнеевым на широких розвальнях, запряженных крепким, сытым, карачинской масти бахматом⁵ ранним утром подъезжали к пожарищу. Они не узнавали улиц. Там, где вчера была путаница густых улочек и переулков, где, прижавшись друг к другу, стояли одноярусные и двухъярусные дома с высокими чердаками, чередуясь с длинными крепкими бревенчатыми заборами, где у лавок и кружал⁶ было всегда шумно от народа и снег был растоптан до самой деревянной мостовой, – теперь были широкие просторы, курившиеся низким и едким синеватым дымом. Кое-где каменные и кирпичные основы показывали места домов. Тут и там валялись обгорелые балки, и пламя еще перебегало по ним. Высокие, почерневшие трубы, точно кладбищенские памятники, торчали по пожарищу. Уцелевшая береза с обуглившимся стволом и пожженными ветвями печально стояла на черном дворе. Под развалинами конюшен и коровников виднелись обгорелые трупы животных.

Груды черепков битой посуды, еще не остывшие железные обручи бочек, оковки сундуков, обода колес лежали кучами – печальные остатки людского богатства.

Сани тихо ползли то по песку, то по обломкам бревенчатой мостовой, проваливались в не успевшие замерзнуть лужи воды. Сильный бахмат с трудом вытягивал их из вязкой почвы. На сытом крупе морщилась мокрая шерсть. Дымною, жаркою гарью тянуло отовсюду. Пахло паленым волосом.

Люди пробирались по пожарищу. Длинными баграми растаскивали они свалившийся хлам, искали останки дорогих людей, несгоревшие вещи. Навстречу Исакову попались сани. В наскоро сколоченных гробах везли найденные на пожарище кости, – чьи неизвестно.

Два опричника проехали верхом. Один был знакомый Селезнеева, и тот спросил, велики ли убытки?

– Сотни четыре людей погорело, – сказал опричник. – Вот они, каковы убытки.

Другой опричник поправил:

– Больше, за полтысячи будет. Эва! Сколько домов выхватило! Не счесть... Да и ночью!..

– Чашники, не знаете, случайно, живы или нет?

– Не знаю, не слыхал.

Другой, молодой, красивый, с широким, наглым, красным от мороза лицом, сидевший на горячей лошади с высоким седлом, с привязанными к потнику собачьей головой и метлой⁷, обернулся к Исакову и сказал:

– Это какие Чашники-то?.. Что мехами торговали?

– Они самые.

– Все как есть погорели. С них и началось. Там разве выскочишь? Меха, чай, селитрою смазаны. Люди говорили, что порох вспыхнул. Товар сухой.

– Никто и не выскочил. Сколько народу тут жило-обитало, – сказал первый опричник, – а глядите сколько по пожарищу бродит, добро свое ищет. Прогневили, значит, Господа.

Они тронули храпящих, напуганных дымом лошадей, а Исаков с Селезнеевым поехали дальше.

У церкви Василья, обгорелой снаружи, с порушенным забором церковного погоста, медленно и печально звонил к заупокойной обедне колокол. Туда свозили в гробах и просто в ящиках найденные на пожарище останки людей.

⁵ Крепкая, широкая русская лошадь. Типа легкого битюга, невысокая ростом.

⁶ Кружала – кабаки.

⁷ Знак опричника: – верны царю, как собаки и метут крамолу метлами.

Привязав лошадь к каменному, еще теплому столбу ограды, уцелевшему от пожара, Исаков с Селезнеевым зашли в церковь. В жарком сумраке пахло гарью. Растерянный священник в обожженной рясе и епитрахили давал указания, как ставить гробы. Человек тридцать погорельцев с темными обожженными лицами, плохо одетых, стояли в церкви. Женщины плакали. Исаков с Селезнеевым обошли всех, расспрашивая про Чашников. Никто не слышал, чтобы они остались живы.

– Разве кого угадаешь? – сказал старик с темным и скорбным лицом и глазами показал на гробы с почерневшими костями. – Вот хороним. А кого хороним? Их же имена Ты, Господи, веши.

Когда вышли из церкви, на улице валил снег.

Он падал на черную, раскаленную землю, гасил дотла дотлевающие бревна. От земли шло легкое шипение, и низкий, белый пар тянулся над нею, закрывая дали.

– Поехали домой, – сказал Исаков. – Свою панихиду надо заказывать. Уцелел Гаврила Леонтьевич на Казанском штурме, а тут какую страшную смерть принял.

– Федю мне жалко, – жидким тенорком жалобно сказал Селезнеев. – Славный мальчик был.

Они выехали с пожарища и крупною рысью поехали по узкому переулку мимо ограды сада князя Серебряного. Сад загибал налево, им надо было поворачивать направо, к Язуе.

– Постой, – сказал Селезнеев, накладывая руку на длинный рукав охабня⁸ правившего лошадью Исакова. – Никак... Восяй?

– Да что ты! – Исаков круто осадил лошадь.

В глубине узкого переулочка, где с обеих сторон были сады и серебряным сводом свешивались сучья заиндеветших, облипших снегом деревьев, стояла, насторожившись, черная собака. Уши были подняты торчком, и она нерешительно виляла обгорелым хвостом.

– Восяй? – крикнул Исаков.

Собака бросилась к ним и, маша хвостом, все оглядываясь, точно просила следовать за ней.

– Как будто зовет, – сказал Селезнеев, – проедем за ней. Пес-то чудной, необыкновенный, может, чего и начуял.

Исаков свернул в переулочек. Восяй с радостным, веселым лаем, прыгая к самой морде лошади, бросился перед ними. Они проехали шагов двести и увидели лежащего на сугробе человека, засыпанного снегом.

– Стой, Степан! Да ведь это Федор, – крикнул Селезнеев и выскочил из саней.

Федя спал полуобморочным сном на снежном сугробе. Бледное лицо еще хранило следы копоти, и обгорелые брови и ресницы придавали ему чуждый, болезненный вид.

Исаков едва мог растолкать его.

Увидав друзей своего отца, Федя заплакал.

– Все погибло, – всхлипывая, говорил он. – Некуда мне, сироте, голову преклонить.

– Свет, друг мой Федя, – сказал, усаживая его в сани, Исаков, – не без добрых людей. Да и ты нам не чужой. Поедем к нам. Помолимся за в огне погибших, а там – Господь укажет, что тебе делать. Благодарю Господа, что направил к нам твоего пса и скоро тебя нашли. А то, не погорев на пожаре, ты бы замерз на морозе.

⁸ Охабень – верхняя одежда с длинными полами, высоким воротником и длинными рукавами.

V

Воспоминания

Сорок дней прошли в слезах и молитве. По утрам отправлялись Исаков с Марьей Тимофеевной и Федей к ранней обедне, выстаивали ее, служили заказную панихиду, а потом возвращались домой. Каждый садился за свое дело, а Федя подсоблял Марье Тимофеевне по хозяйству, или ходил с Исаковым по двору, на конюшни, помогал седлать, запрягать. Иногда Исаков приказывал и ему поседлать коня и ездил с ним по Москве, по жилецким избам, осматривая, все ли в порядке в его конной сотне.

По вечерам приходил к Исакову Селезнеев. Марья Тимофеевна поднималась наверх в терем, где у Наташи собирались сенные девушки, а Исаков с Селезнеевым садились в горнице за дубовым столом. Слуга приносил свечу в медном шандале, доставал кувшин пенной браги и оловянные чары. Федя садился в углу, Исаков с Селезнеевым под окном на лавке. В горнице была полутьма. Освещены были только лица старых сотников. Серебром отливали седые виски Исакова, светилась розовая лысина Селезнеева. Сначала было тихо в избе. За большую печь в цветных зеленых с розами изразцах трещал сверчок. Сверху чуть доносилось визгливое протяжное пение девушек в терему. На улице потрескивал февральский мороз.

Вдруг скажет Селезнеев: «а помнишь?» – и подмигнет – Феде-то с темноты все видно – Исакову. А Исаков уже понял, о чем думал Селезнеев, и скажет.

– А расскажи-ка, Ярославич, как Казань брали.

Селезнеев закивает лысой головой, удивительно напоминающей Феде молодую репу, и заговорит своим дребезжащим тенорком:

– Ох не речист я, куда не речист, Степан. Где мне рассказывать!

И рассмеется ребячески чистой усмешкой. Всплеснет черными, загорелыми руками и вскрикнет, срываясь на визг.

– Под Арском! Добычи! Добычи-то!.. Князя Романа Михалыча ранили... В ножках-то стрелы... Конь в крови... Ровно бешеный!.. В то же лето и помер волею Божию князь Роман Михалыч от стольких-то ран!..

Дрожащей рукой нальет из кувшина в чарку брагу. Стучит горлышком по оловянному краю. Пена течет на дубовый стол.

Любопытство Феде задето. Он встает и несмело делает из своего угла два шага к Исакову.

– Степан Филиппович, – говорил он, и голос его ломается, – дозвожь мне слово молвить.

– Ну? – хмурит Исаков седые брови. Нельзя молодому, отроку еще, в беседу старых мужей мешаться.

– Ну? – повторяет он строго. Но Федя видит, что серые глаза его вовсе не строги и лучами расходятся маленькие морщинки от их углов. Значит, улыбнется сейчас Исаков. А Селезнеев заливается, смеется добрым ласковым смехом. Он знает, что попросит сейчас Федя. Рассказать про Казань! Он и сам того хочет. И знает он, что для Исакова нет лучше беседы, как вспоминать про казанские победы.

– Степан Филиппович, не вели казнить, дозвожь слово молвить... Расскажи мне, сироте неученому, как Казань-город брали.

Исаков не глядит на Федею. Он смотрит на Селезнеева. Уже распустились морщинки. Все лицо в светлой улыбке.

– Ярославич! Ярославич! – говорит он. – А ведь такие, как он, молодые мы были... И царь, и князь Андрей Михалыч Курбский, и брат его Роман Михалыч – совсм отрок... и Ермак – помнишь... Все – кому двадцать четыре, кому двадцать пять сравнялось... Роману Михалычу и всего-то восемнадцать. – Таким-то, Степан, и дела делать! Нам, старикам, – печь да завалинка! Нам-то с тобой и по двадцати тогда не сравнялось.

– Что говорить! – одушевленно сказал Исаков. – Молодежь!.. Пыл!.. Как крикнем: Москва! – да, освободя повода, устремим коней во весь дух, – бежит татарва!!!.. Ну, слушай?! Бог с тобой! расскажу уж, какой царь тогда был!.. Какие победы!..

– Да стаканчик ему, сироте, налей, Степан. Можно, – засуетился Селезнеев. – Пусть мозги прояснить, восчувствует, что и как было. Ох, не речист я, не речист, а то бы и сам уклеил, что, где, как, почему и по чем!.. Ну, сказывай, Степан... А мы слушаем... Уши развесим.

Обняв за стан Федю, он притянул его к себе и усадил рядом на лавку.

VI

«Преданья старины глубокой»

– Казань у Москвы, что болячка на носу, – начал рассказ Исаков. – Запирала она нам Волгу. Некуда было кораблям нашим податься. Стерегла нас Казань... Да мало того, что стерегла, вечною угрозою стояла, мешала бороться с Перекопским ханом, тревожила рязанцев, держала в страхе Москву. И надо было ту Казань взять!.. А как возьмешь?.. Крепость!.. Царь поставил на пути к Казани город Свияжск и там заготовил рать и большие военные запасы, а в двенадцатый месяц – «зарев»⁹ с большою ратью подошел к Волге. Три дня мы стояли на Волге, собирали суда, вязали плоты, готовились к переправе, а на четвертый день, – Господи благовослови, – стали переправляться. В лесных дубровах на левом берегу Волги стал раскидываться наш стан. Сто пятьдесят тысяч нас было – конных и пеших! Небывалая сила!

Яртаул – передовой полк с двумя воеводами – князьями Юрием Пронским и Федором Львовым, – тоже юношами пылкими, пошел берегом реки к Казани.

Не легок был путь. Много ручьев и речек впадает здесь в Волгу. Мосты и гати, которые тут были, все были повреждены казанцами, и нашему яртаулу пришлось мостить и гатить их заново. Три дня шли походом и на четвертый вышли из лесов, и вот они! – открылись перед нами великие и пространные, и гладкие, зело веселые луга, и по ним бежит речка Казанка. Господи! Красота несказанная! Осенним, ярким последним цветом цвели луга. Трава по колено коню. Метелками машет, сладким духом в лицо пышет – и умирать не велит! Дыши – наслаждайся!.. А мы молоды, – все об одном думаем – услужить царю, разбить басурман, подарить победою Москву-матушку!.. И перед нами Казань! Крепкое место... С восхода Казань-река, с заката тинистый, глубокий, непроходимый вязкий проток Булак, вытекающий из немалого озера Кабана, и над всем этим за высокими бревенчатыми стенами на горе белый каменный город с высокими башнями и с тонкими стройными минаретами мечетей! Красота, Федя! На зеленом лугу горит, сверкает на горе город, – блистают острия и полулуния на мечетях – и манит обманною тишиною. Ибо знали мы, что там схоронилось все войско татарское.

– Князю Андрею Михайловичу было поручено устраивать правый Рог – и было у него, молодого, под начальством двенадцать тысяч пеших стрельцов и шесть тысяч казаков. Наше крыло должно было переправиться через Казань-реку и стать от Казани-речки до моста на Галицкой дороге. Досталось нам, Федор, ровное, болотистое место, и надо нам было всячески оберегаться от огневой пальбы со стен города. Понарыли и понасыпали мы кругом Казани до полутораста больших и малых шанцев и укрылись ими от пушечной стрельбы и от стрел, пускаемых из луков.

– Так пошли дни и недели. Дня, Федя, не проходило, чтобы не беспокоили нас татары. Много погубило уже наших храбрых воинов, много полегло и коней наших, которых убивали татары всякий раз, как ходили ротмистры¹⁰ наши на разведку, или ездили за травой для корма лошадям. Стали и мы в ту пору тощать. Затянулась осада казанская. И пошли в те поры дожди. Пухнуть стали болота, и от сырости болотной стала у людей хворь. И как приметили татары, что мы от тех дождей терпим лютое горе, – стали колдовством напускать на нас дожди.

Исаков вздохнул, истово перекрестился на темную икону, где малиновым огоньком в венецианском стекле чуть билось пламя лампы, и продолжал.

⁹ Это было в августе 1552 года. С XV века год начинался с 1-го сентября – и август, по-тогдашнему – зарев – был двенадцатым месяцем.

¹⁰ Стрелецкие головы. Исаков, соратник Курбского, называет их так же, как и Курбский немецким именем – ротмистров, взятым им из Польши.

– Прости мне, Господи, что поминаю этакую пакость! Да ведь, говорится: из песни слова не выкинешь, что было – то было. Сразились ангельские силы с силами бесовскими, и победил Честной Животворящий Крест! Как только зажелтеет небо на востоке, за лесом, предвещающая восход, – стены города наполнялись татарскими мужами и бабами и начинали они кричать сатанинские слова, махать на наше войско своими одеждами, дико и страшно вертеться... И тогда вдруг поднимается прохладный и влажный ветер, и хотя бы день начинался ясный и солнечный, нагонит тот ветер облака, затянет, заслонит небо темными тучами и польет такой дождь, что и сухие места обратятся в болота, а низины наполнятся водою. И дождь идет только над нашим войском, а кругом, вдали видать светлое небо, и нету дождя. Тогда бывшие при царе священник, протопресвитер Новгородский Сильвестр и муж добрый Алексей Адашев присоветовали царю послать в Москву и привезти Крест с частицею Древа Креста Господня. Тот Крест всегда хранился при царском венце. И сбегано, за Божьею помощью, зело скоро. Водою шли до Новгорода Нижнего три дня на вятских быстроходных кораблях, а от Новгорода до Москвы погнали лошаадьми. И двух недель не прошло, – вот он, – привезли к государеву стану Крест чудотворный. И тогда все пресвитеры соборне отслужили при походной церкви литургию, отпели молебен, освятили тем Крестом воду. Войска были построены кругом казанских стен... Ах, Федор! Федор! Надо было видеть красоту тогдашнего воинства нашего. Конница на крепких бахматах в сиянии панцирей и бахтерцов, в шапках с золотыми шишаками, государев полк на стройных легких аргамаках¹¹ с саблями наголо, союзные нам черемисы в алых халатах на крепких татарских конях, стрельцы с лучным боем, ружейники с огневым боем, копейщики с копьями и с круглыми стальными щитами в бронях из цепочек – все горит на осеннем солнце, блистает, играет разноцветными красками, что цветами весенний луг. И мимо них, кропя их святою водою и кропя в направлении стен казанских, медленно шествует духовенство и царь со всем синклитом воинским. В воздухе, Федя, тишина. С голубизны небесной паутинка осенняя плывет. Тихо колышатся тяжелые хоругви золототканые и пестрые наши стяги. К небу несется согласное пение. И с того нашего моленного часа исчезли, пропали без вести их чары поганские!..

Селезнеев, напряженно слушавший Исакова (а уже который раз он слушал этот рассказ и все с новым и полным вниманием) тяжело вздохнул и прошептал:

– Победили Христос и Божия Матерь те силы бесовские...

Исаков разгладил седеющую бороду и сказал с расстановкой:

– Вот тогда бы тебе, Федя, быть с нашими преславными воинами, в несказанно счастливый день Казанской победы.

И замолчал. В горнице стало тихо, и чуть доносился в нее со второго яруса тонкий чистый девичий голосок. Пела там песню дочь Исакова.

Федор, в рассказах старого жилецкого головы забывший о своем сиротском горе, тихо спросил:

– А как же взяли Казань, Стефан Филиппович?

¹¹ Лошади восточных пород – кавказские, персидские, турецкие и арабские.

VII

Ермолай Тимофеевич – по прозвищу Ермак

Точно от охватившей его дремы с чудесными снами о былом, очнулся Исаков и продолжал:

– С того молебна пошли у нас дела. Будто Крест Животворящий с частицею спасенного древа, на нем же Господь Иисус Христос плотию страдал за человеки – принес нам мудрый совет. Царь приказал князю Александру Суздальскому и воеводе князю Семену Микулинскому из Тверских князей собрать войско и ударить на татарскую засеку, что была к востоку от Казани, проломить ее и идти к Арскому городу. Два часа бились наши, то поражая неприятеля ружейным огнем, то кидаясь в рукопашную схватку. Но это пусть расскажет тебе Василий Ярославович, он ходил тогда со своим полком в Арск.

У Селезнеева на полном лице заблестали огнем удовольствия маленькие медвежьи глазки. Он приосанился, выпрямился и откашлялся.

– Ох, не речист я, не речист, Степан! Где мне за тобою угоняться. Краснопевец ты настоящий. Я что... Коротенько разве, как суть да дело было... Пока на засеке были татары – то и дрались... А как сбили их оттуда – так потекли – на коне не утонишь. Ну... Подошли мы, значит к Арскому городку... А он пуст... И там ханские дворы и села татарские преизобильные и богатые. Чего-чего там мы не забрали! А войдешь, Федя, в избу – дух там особый. Ладаном пахнет, водою розовою, чисто, по белым, гладко струганным лавкам платы пестрые, золотом шитые висят, а по ларям в закромах чего-чего не напхано. И изюм, и сушеный персик, и груши, и яблоки, и фисташки, и ото всего сладкий дух ванилевый. Хлебов же всяких забрали мы там множество, и скотины много, и мехов кунных и беличьих, и медов, и пряников сладких! Ей-ей! Воистину удивления достойно какой то богатый край. Поправилось войско наше. Ну, продолжай, Степан Филиппович... Мой заряд вышел.

– Да поправилось с той добычи царское войско, – сказал Исаков. – А вот уже и октоvrier – листопад подходит. Живи, брат, с оглядкой. Пошли холодные утренники. Потемнел, побурел, оголился арский лес. Татарам-то в домах хорошо. Видно, как по утрам у них столбами из труб валит белый дым, а нам в холщевых шатрах люто приходит. Вот в ту пору и решено было повести подкоп под стены казанские и взорвать самую большую их башню. Заготовили пушкари 48 бочек пудовых пороха.

– Стоял я тогда в одном шатре с князем Курбским. Был у нас совет, как лучше устроить подкоп. В шатре в на столе был разложен чертеж Казанской крепости и были собраны все полковые воеводы. Вдруг в шатер просунулась голова сторожевого жильца, и к князю: «Князь, тебя атаман казачий видеть желает». – «Проси», – сказал князь. Вошел Ермак. Был он тогда, Федя, как ты молодежавый. Роста среднего, коренастый, крепкий. Пухлые алые губы, черные большие глаза. Скинул шапку, в пояс поклонился.

– На добром совете!

– Садись, атаман. Что присоветуешь? – ласково сказал ему Курбский и указал место на лавке.

– Слышал я, князь, – начал Ермак. Говорил он негромко, но как-то голос его весь шатер наполнил.

– Слышал я, что ты, князь, сорок восемь пудов пороха заготовил и тем порохом хочешь стены Казанские и башню взорвать?

И усмехнулся.

– Так что же? – сказал князь. – Мало что ли по-твоему?

– Ты, князь, тем порохом только разве мало-мало тряхнешь стены... Только шума наде-лаешь. Татарок в теремах переполошишь.

– Да что ты, атаман!

– Верное мое слово... Я еще от отца, да от деда слышал... Им ли не знать! К Трапезонту, да под самый град Константинополь ходили... Воинское дело знали хорошо.

Ермак замолчал. И мы как-то примолкли. Нарушил веру в наши силы атаман. Внес пагубное сомнение в сердца.

Ермак точно в мыслях наших прочел.

– Ты вот что, князь... Ты так подкоп подведи, чтобы, где бочки с порохом, под их пороховую казну поставить. Тогда взорвется наш порох и от того огня подорвет все их запасы. Вот тогда будет дело. Царицы Сумбеки башня наибольшая, гляди, как бы и та не свалилась.

– А почему же мы узнаем, где пороховая казна у них хоронится?

– Обожди три дня – скажу.

– Дождаться, правду сказать, нам не хотелось, а сомнение-таки зародилось. А кто усомнится в победе – тот уже не победит. Решили мы на совете подождать, что скажет через три дня атаман. Как-то сумел он нам внушить в себя веру. Ну, да и то: – мы молоды – и он молод, – и во всех нас была такая дружеская вера друг в друга.

Вот, значит, и прошли эти три дня. Вечерело. По станам зажигали костры. Засветили свечи по шатрам, и стали они просвечивать. Я сидел у князя Андрея Михайловича! Вдруг шум у шатра. Толпа казаков ведет каких-то двух оборванцев, старых, нищих татар. Есаул подошел к князю и говорит:

– Князь, из Казани перебежало два старых татарина. Желают непременно тебя видеть.

Казачи расступились. Из их толпы вышли татары. Они сложили руки, приложили ладонь ко лбу, потом к сердцу – значит – худого не бойся, – что в мыслях, то и на сердце и преклонили колени.

– Ассала-малейкум! – Седые усы свесились вниз к углам губ. Седая жидкая бороденка, желтый, морщинистый, грязный лоб. Едва ли не прокаженный.

Я схватил князя за руку.

– Князь, – говорю ему, – не пускай его в свой шатер. Мало ли что нанесет тебе – проказу, чуму? Разве не бывало таких случаев?

– Пустое, – говорит князь. – Волков бояться – в лес не ходить. – Малейкум-ассала, – и махнул рукою татарину, чтобы тот следовал за ним.

Вошли мы в шатер. Татарин задернул полу шатра, провел руками по лицу... И – навождение! Борода, усы в руках остались. Вынул из-за пазухи полотенце, обтер лицо: перед нами Ермак. В углах рта дрожит задорная, гордая ухмылка.

– Ермак!

– Я, князь!

– Да, как же ты?..

– Три дня, князь, нищим татаринком ходил по Казани. Все узнал.

Ермак подошел к столу, раскинул чертеж, пододвинул ставцы со свечами и долго рассматривал, изучая, чертеж. Потом протянул толстый короткий, почернелый палец и показал: «Вот здесь у них хранилище пороховой казны. Сюда и надо довести подкоп». А когда будет у вас все готово, зажги две ровных свечи воску яраго и одну поставь у себя в шатре, с другою пошли в подкоп. Пусть поставят ту свечу в бочку с порохом. Как догорит свеча у тебя в шатре, так догорит и свеча в подкопе и упадет пламя фитиля на порох. И взлетят и стены Казанские и та, самая большая их башня... Тогда, с Богом! На приступ!»

Вот он какой был Ермак!

Федя, с волнением слушавший рассказ Исакова, схватился за голову, вскочил со скамьи, прошелся по горнице и, став против Исакова, задыхаясь, выкрикнул:

– Дальше?.. Дальше-то как!?!.. Ах!.. Ермак!... Ермак!..

VIII Штурм Казани

– Покров не лето, а Сретенье не зима, – продолжал свой рассказ Исаков. – Ночь на Покров была холодная и ясная. Звезды по небу легли сияющим узором. Большой Котел¹² опрокинулся прямо над нами, растелились волоса Богородицы¹³ и играли тихим блеском. За два часа до света пешее войско выступило для штурма. Стрельцы и лучники несли лестницы, крючья и веревки, чтобы лезть на стены. Князь Андрей Михайлович Курбский с 12-ю тысячами конного войска, в старинных, дедовских доспехах, пошел вверх по реке Казанке, чтобы оттуда кинуться в пролом. Перед самым солнечным восходом, ибо мало что – уже начало солнце являться – как бы гром загредел над Казанью. К ясному небу высоко метнуло желтое пламя, клубами поднялся белый пороховой дым и на несколько времени закрыл собою город. Тогда ударили в большие и малые литавры, затрубили в трубы и бросились иоанновы войска на приступ. Татары так растерялись, что пока наши подходили к стенам и к пролому, не было дано ни одного выстрела и не было в нас пущено ни одной стрелы. Но как только подошли мы к стенам и пролому, то такая туча стрел понеслась в нас, как будто бы полит частый дождь. Вместе со стрелами полетел в воинов град камней. Казалось камни затмили самое небо. Света Божьего не стало видно. Когда же начали мы с большими потерями лезть на стены – татары лили кипящую смолу и бросали со стен бревна. Бог помогал нам. Он даровал нам храбрость, крепость и запечатование смерти... Полчаса шел бой под стенами. Ружейным огнем и стрелами мы отбили татар от бойниц. Наши пушки громили в это же время татар из шанцев. Мы подставили к башне лестницы, и первым полез молодой князь Роман Михайлович Курбский, за ним бросились стрельцы... Басурманы не выдержали нашего натиска и побежали на гору, к каменному ханскому дворцу.

За первой дружиной Романа Михайловича пошли в город все, кто оставался еще за шанцами. Кашевары и коноводы, бывшие при лошадях, и частные люди, торговцы, – все бросилось не ратного ради дела, но ради корысти и грабежа. Как ворвались мы в город – сразу попали в торговые ряды, к богатым купцам. Золотые кубки и чаши, золотыми узорными бляхами украшенные конские уборы, арчаки в золоте и самоцветных камнях, в голубой бирюзе, в прозрачном халкедоне и темном агате, женские уборы, шелка разноцветные, целые связки темных пушистых собольих шкур – метнулись нам в глаза. Мы бежали с князем Курбским мимо всего этого, мы гнали по тесным улицам басурман, ни о чем другом не помышляя, как о победе, но то тут, то там вбегали воины в лавки, трещали деревянные ставни, раскрывались окна, и падали на землю короба, а из них сыпались драгоценности. Кто сказал в обозы и коноводам об этом богатстве? – Надо быть, вестники, посланные к царю, крикнули о том, какие несметные богатства дала нам Казань. Все больше и больше пришло, безоружного народа наполняло улицы и набирало полные полы кафтанов вещей и бежало обратно. И по два и по три раза проделывали так, пока мы бились с татарами. Татарский царь укрепился за Тезицким рвом, где очень было трудно его одолеть. И уже два часа мы бились, и все слышали сзади шум, крики и споры грабителей. Многие наши воины начали покидать ряды и идти назад. Татары, увидав, что нас, бойцов, осталось мало, с неистовым криком бросились на нас, потеснили и ворвались в те улицы, где были наши «корыстовники». Они побежали в рассыпную, бросая добычу.

– Секут!.. Секут!.. – кричали они и вносили повсюду смятение.

Я был недалеко от стены Казанской, у самых ворот, нами настуж растворенных, и влево от меня, за проломом видны были казанские луга. И вдруг в сумятицу боя, в вопли о пощаде, в

¹² Созвездие Большой Медведицы.

¹³ Волосами Богородицы наши предки называли Млечный Путь.

отчаянные крики «корыстовников» ворвался глухой, ровный гул... Раздались звонкие трубные гласы – и то, что я увидел, – того, Федя, никогда не забуду...

Исаков вздохнул и замолк.

Слышнее стал голос Наташи. Она теперь пела одна, и Исаков слушал пение дочери. Тихая улыбка играла на его губах.

– Будет ли еще на Москве когда такая красота, Федя?.. – вздохнув, сказал он. – Чаю, что не будет такой. Государев полк, двадцать тысяч юношей, дворян московских, тверских, костромских и рязанских, все в пресветлых бронях, в золото тканых шелковых однорядках под ними, на убранных серебром дорогих аргамаках, серых, рыжих, гнедых и вороных, разделились на «гуфы» – отряды, по тысяче в каждом, с саблями наголо, спорою рысью шел к Казани по лугу. И в середине широко реяла громадная золотая царская хоругвь, и под нею на рослом аргамаке ехал молодой наш царь Иван IV Васильевич... В доспехах, в шапке с крестом, что икона светлый, запечатлелся он в моей памяти, как появился он в воротах и одним появлением своим остановил бегущих наших воинов. Кругом, по пролому, по грудам навороченных камней, по этой сыпучей россыпи шли кони, и дворяне государева полка вливались в улицы, вытесняя татар.

– И мы, усталые, воспрянули духом! Мы примкнули к государеву полку и погнали татар аж до самых мечетей, что на площади. Там на стены мечетей вышли их князья Обазы, Сеиты и священники – муллы и с ними их епископ – великий эмир Кулшериф-мулла. Их царь затворился в каменном дворе. По другую сторону площади, чтобы смутить и прельстить нас, размягчить наши сердца стали их жены и девушки в самых красивых своих уборах. По улицам везде валялись – трупы. Наши и татарские. Разметались руками и ногами, легли кто навзничь, кто ничком в лужах темной крови, глядят в небо опустелыми, вылитыми глазами, страшны своею бледнотою и спокойствием. На стенах тонкий гомон женский, насурмленные брови, нарумяненные щеки, синие и алые шелка сарафанов, белые убрusy, прозрачные чадры... Под ними рать казанская быстро устраивается для боя. Готовят «наряд»¹⁴. Улицы же тесные. И нельзя нам сразу многим приступить к ним и неспособно драться на конях.

И слышу – крики по государеву полку: «К пешему бою!.. К пешему бою!..».

Мы с рушницами побежали вперед. За нами слезшие с коней дворяне государева полка – и видим: уже и сзади наши заходят на татар, и там идет большая сеча. Татары не выдержали ни сечи в тылу, ни нашего решительного и смелого удара спереди. Произошло какое-то замешательство. Тогда вдруг ударили татары в большие литавры, подняли руки и стали в раз кричать:

– Алла!.. Алла!.. Алла!..

И пали на колени, прося пощады...

У нас же затрубили в трубы и к дому царя казанского улицей медленно ехал наш юноша царь Иоанн Васильевич. От Казанского царя отделилась толпа татар. Они вели под руки каких-то богато одетых людей.

Шагах в пятидесяти от Его царского величества они остановились. От них отделился мулла в зеленой чалме.

Он подошел к царю и, сложив на груди, в знак покорности, руки, сказал:

– Пока был цел наш Кремль, где был царев престол, мы боролись до смерти за царя и отечество! А ныне, как заняли вы Кремль, отдаем мы вам нашего царя целым и невредимым. А мы, оставшиеся, выйдем на широкое поле испить с вами последнюю чашу!..

И сдали нам своего царя Едигера и с ним мальчика, сына князя Зениеш, а при нем две кормилицы – имилдеши.

– Ты знаешь, – сказал Селезнеев, – тот Едигер второй и правдой служил царю Ивану Васильевичу и храбро сражался за Русское дело с ливонцами.

¹⁴ Артиллерию.

– Да, был милостив тогда наш царь и к врагу побежденному. И вот пока шли эти разговоры – вся рать казанская бросилась вон из города и стала переходить в брод реку Казанку и за нею в чистом поле устраиваться для лучного и рукопашного боя. Вижу, стороною наши коноводы идут, ведут наших коней и князь Андрей Михайлович, молодо, весело, будто в опьянении и ликования победой крикнул: «Молодцы, ребята мои, по коням!»

Мы посели на коней. Впереди князь Андрей Михайлович Курбский с братом Романом, а за ним набралось нас тогда немного больше двухсот всадников. Татар же за Казанкой стало около шести тысяч. Но такова, Федя, запомни это, милой, власть победы, что не числит она врага. Смелым Бог владеет. Развернули мы конный строй, по колена лошади перешли реку Казанку и «всеми уздами распустия коней»¹⁵ – во весь скок кинулись на татар.

Только топот конский, да мощный наш крик «Москва!» раздался по зеленому, блеклому осенней травой лугу!

Туча стрел нас встретила. Падали кони. Но мы врубались в татар и саблями их рубили, и конями топтали. Вижу: Роман, князь Курбский, упал с конем. Коня положили татары копьем. В ногах у Курбского стрелы впились, кровь рудую бьет. А тут подле бежит чей-то порожней конь. Я ухватил его за узду, веду к Роману Михайловичу.

– Князь, – кричу... – Ранен, что ль?

– Ничего, – отвечает. – Давай коня! Я еще хочу!

А был он мальчик еще, как ты, – прелестный юноша! Стрелы – по пяти вонзилось их в ноги князя Романа, – повыдергал, вскочил на коня, поднял саблю и снова кинулся в сечу...

Татары побежали в леса. Поле опустело. Гляжу: конь белый, рослый, один без седока стоит на поле. Как не узнать того коня! Князя Андрея Михайловича конь!.. Поскакал я туда. Лежит князь на траве, лицо белое и чуть дышит. Соскочили мы с Селезнеевым с лошадей, сняли тяжелый княжеский доспех. Кто-то из жильцов за водой поскакал. Ротмистры наши съехались. Уже вечерело. Туман поднимался над полем. Испил князь воды, приподнялся, рукою по лбу провел, вздохнул и глаза раскрыл.

– Что татары? – спросил.

– Утекли по лесам. Наша Казань, – сказал я. – Как ты, князь?

– Ран много, – сказал князь, морщась от боли, – но жив. Збройка на мне была праотеческая, зело крепка!

И перекрестился.

– А боле того, – сказал, – благодать Христа моего так благоволила, что ангелам своим заповедал сохранить мя недостойного во всех путях...

Князь поник головой. Дурно ему стало. Попросил воды. Испив воды, спросил:

– Роман, что?

Я ответил: «Ранен князь Роман Михайлович, но жив».

– Послужили мы царю и Отечеству... И помирать не стыдно... Ну... несите меня к царю. Хочу поздравить царя моего с пресветлою победой.

Так была взята царем Иваном Васильевичем твердыня татарская – Казань.

¹⁵ Т. е. послав лошадей полным скоком.

IX За ратною честью

После длинного рассказа о взятии Казани, всегда так волновавшего Исакова и Селезнева, наступило долгое молчание. Наверху, в терему, было тихо.

Слышнее стал в Исаковском покое сверчок и потрескивали, нагорая, свечи. Возбужденный рассказами о былой славе, о битвах и победах, Федя сидел в углу, тарасил глаза и ерошил густые волосы. Хотел он спросить о многом, сказать старому стрелецкому голове все свои мысли и не смел. Он тяжело вздыхал, не сводя блестящего взгляда с Исакова.

Исаков сидел на лавке, опустив голову на грудь, и о чем-то глубоко задумался. Пальцами он барабанил по дубовому столу, выбивая дробь. Наконец, он поднял голову, внимательно посмотрел на Федю и, казалось, понял все, что происходило в душ мальчика.

– Вот, – тихо сказал он, – кабы те-то времена теперь, Федор, были...

Он тяжело вздохнул, помолчал и другим, спокойным, ровным голосом сказал:

– Что ж, Федор, сорок дней мы молились за родителей твоих, присматривались к тебе, надо нам теперь и о житейском подумать... Как в одночасье лишился ты родителей своих, опоры свою и заступу, и всего богатства, и дела родителем твоим заведенного. Значит – такова воля Божия. Надо свое дело начинать. Не может быть человек без труда. Так ему от Господа заповедано за грехи прародителя нашего Адама: в поте лица твоего будешь добывать хлеб свой... Тебе теперь шестнадцать... Не надумал ли и сам чего?

Федя вспыхнул. Он вскочил с лавки, сделал два шага вперед, вернулся на место, провел рукою по лбу, откидывая от глаз светлую прядь волос. Наконец, собрав силы и стараясь говорить густым «мужским» голосом, он выпалил:

– Хочу послужить царю-батюшке! Хочу идти за ратною честью!..

И точно испугавшись того, что он сказал, Федя закрыл лицо ладонями.

Исаков внимательно осмотрел мальчика с головы до ног.

– Так, так... – сказал он. – Мудрое, красивое твое слово, Федор. И после рассказов наших о Казанской победе другого слова и не ждал я от тебя услышать. Искать ратной чести! Да... верно. Нет выше того, как воинская честь и слава победы... Нет больше счастья, как душу свою положить за веру православную, за государя и за Родину! Нет честнее могилы, как могила воинская, в чистом поле под ракитовым кустом... А только... Не те ныне времена. Где искать ратной чести? Везде у нас неудачи и поражения. И швед, и ливонец, и поляк нас теснят... Царь?.. Страшно мне говорить такие слова... а как?.. как?.. где, Федор, ты ему будешь служить, и с кем? Князь Андрей Михайлович Курбский, кажется, уже честнее не было человека!.. Светлый наш князь – объявлен изменником и бежал к ляхам... Где честное наше воинство? Где государев светло-бронный полк? Числом наше войско умножилось, дошло уже до трехсот тысяч, а побед нет. При царе – опричники с Малютой Скуратовым, заплечных дел мастером, метлой, не разбирая кого, метут. Выметают и честь, и славу, и мудрое правдивое слово... Собачью верность показывая, как псы, грызутся между собою из-за брошенной кости. Куда же ты пойдешь искать ратной чести? Если бы ты был помещиком и были у тебя люди и средства – «людный, конный и оружный»¹⁶, – ты явился бы в полевое войско... Не идти же тебе холопом?.. Не Малюте же Скуратову мне отдать тебя учиться пытаться крамольников по застенкам?..

– Степан Филиппович, – сказал, пунцовая, Федя, – Степан Филиппович!.. Я – я... желал бы... Ермак... К Ермаку бы меня!..

¹⁶ Русские дворяне по Царскому указу должны были выступать в поход со своими вооруженными и, кому положено, конными людьми: людные, конные, и оружные.

– Ермак?.. Ищи ветра в поле, а казака на воле... Где он твой Ермак-то? Шут его знает! Тридцать лет прошло со штурма Казанского, когда царь наградил Ермака золотой именной медалью... А потом?.. Чем живут казаки? С травы, да с воды¹⁷ много не напитаешься. Живут они своим ремеслом. Ходят – зипуна добывать. Воровским делом занимаются станичники. Слух такой был – и Ермак на Волге пошаливает. Что же и ты к ним? «Сарынь на кичку!»¹⁸ кричать, да купцов шемаханских ножами полосовать? Казанский воевода Мурашкин по государеву указу по всей Волге ту сарынь гонял. Как бы и Ермака не гонял с ними. Ну, а попались бы? Пожаловал бы и Ермака твоего и тебя самого царь хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной! Понимаешь? Чай видал на лобном месте, что делают?

– Видал, – прошептал Федя.

– Ну, значит, о Ермаке, да о том, чтобы идти казаковать тебе надо, из головы выкинуть. Твое дело торговое. Только вот не придумаю, куда тебя определить, чтобы молодецкую удаль твою не засушить за прилавком, да за бирками.

– Слушай, Степан, – поднялся с места Селезнеев, – что я глупым умишкой своим подумал... Ох не речист я, не речист... Мыслей-то много, а как на язык, что тараканы разбегутся. Не соберешь. Знаешь, куда нам Федора-то определить в науку?

– Куда?

– А вот куда, Степан. Помнишь, как Казань-то мы взяли, и шести лет не прошло – снарядил царь купцов Строгановых на Каму соляным делом заниматься.

– Ну?

– Ты, брат, не нукай на меня, я тебе не лошадь, – пошутил Селезнеев, и вся его голова-репка покрылась маленькими морщинками, – не нукай на меня, потому, сам знаешь, не речист я. Слова-то, что камни ворочаю. Так вот и пошли, значит, туда Яков и Григорий Строгановы. И ведь двадцать три года срок не малый. Большое, говорят, там дело поставили. И пушниной торгуют, и камнями уральскими самоцветными, и кожами, и солью... Будто царь им разрешил даже свое войско наемное держать – немцев, да шведов, чтобы вогулов да остяков гонять, когда нападут. Старые-то Строгановы и померли там, ну а дело-то осталось. Меньшой брат Семен с племянниками Максимом Яковлевичем и Никитой Григорьевичем-то дело ведут. А Федор-то наш как раз на пушном деле собаку съел. И по-татарски говорить умеет... А у Максима Яковлевича в Москве палата есть. Каждую осень в нее туда товары гонят, а весной из Москвы везут, что надо. Заходил я туда по делу. Сказывают и нынешней весной человека на Каму посылать будут. Там Федор-то наш и торговое и воинское ремесло постигнуть может... А? Что, я так говорю?

Селезнеев гордо поднял свою морщинистую голову. Узкая и жидкая бородка стала хвостиком и на стене откинулась тенью – ну совсем как репка с пучком листьев.

Исаков посмотрел на эту тень от свечи и сказал, улыбаясь:

– Репа ты репа, Ярославич, а голова у тебя умная... жалко молодца в далекий Пермский край посылать... А и там люди живут.

– Хорошие, Степан, люди живут!..

– И мы, когда на Казань шли, тоже думали – на край света попадем. А нашли преславное и богатое, всем изобильное царство... Что ж, Федор, неволить тебя не хочу. Желаете сам поехать служить у купцов Строгановых?

– Вы мне, Степан Филиппович, вместо отца стали, – кланяясь в пояс, сказал Федя. – Худого вы мне не пожелаете. Поеду служить, где укажете. А поможет Господь, и там ратной чести буду искать, в Строгановских дружинах.

¹⁷ С травы – т.е. скотоводством, с воды – рыбной ловлей.

¹⁸ Сарынь – чернь, гольтьба, незнатные люди. Кичка – кик – нос судна. Отсюда и глагол – кикнуть. «Сарынь на кичку» – разбойничий клич волжских гулебщиков при нападении на суда.

– Ну и ладно!.. Вот это по-нашему, – весело сказал Селезнеев. – А и добрый бы из тебя, Федор, воин вышел. Потому – послушание первая добродетель воинская! Люблю молодца за ухватку!

И стал прощаться, идти домой.

– Ну, гаси, Федор, свечи, засвечивай лучину и айда по постелям. Пора и нам на покой.

X Угнетенная Москва

Незаметно, за домашними работами подошел и Великий пост. Запахло по дому редькой. Зашуршали большие связки сушеных белых грибов, повезли по московским улицам сани с мороженым судаком яицким¹⁹, со сметками белозерскими, с ладожскими сигадами и лососями, с беломорской белужиной.

От церкви Воздвиженья, что на Арбатской улице, ударил плавный великопостный звон к часам. На этой неделе Марья Тимофеевна и Наташа говели.

Им были поданы широкие сани с мохнатым темным ковром. Федя с Исаковым пошли в церковь пешком.

В церкви было тепло. Пахло ладаном, воском и лампадным маслом. Стариною пахло. По одну сторону стояли женщины, по другую – мужчины.

Гулко гудел под каменными низкими сводами голос чтеца. Слышно было, как покашливал в алтаре старый священник.

Куда ни глянет Федя – всюду видел темные «кручинные»²⁰ платья. Глубокие вздохи раздавались по церкви. У иконы Божьей Матери как рухнула на колени боярыня, так и стояла не шелохнувшись. Федя видел бледное, совсем белое лицо и слезы, бежавшие по впалым щекам. Полна была горем Москва!

Федя слышал шепот о казнях и пытках. Слышал, как говорили о том, как испошлился народ, идет с доносами и кляузми, брат предает брата, сын отца. Знал Федя, что по тем доносам хватили в Москве по ночам людей и везли к Малюте Скуратову на допрос.

«Где же тот светлый, смелый юноша царь, что на статном аргамаке, что икона залитой золотом, явился в Казанских воротах и одним появлением своим остановил бегство ратных людей? Или подменили царя? Где же царский светло-бронный полк юношей, дворян московских? Где радость и счастье молодого, победного царствования?»

По Москве шепот о неудачах, о поражениях и... об измене.

После часов – шла заупокойная обедня. Об убиенных на бранях боярах, князьях и простолудинах... О в пытках замученных.

Громче стали плач и стенания.

Хор запел протяжно и печально. Мужские голоса звучали в лад с мрачною торжественностью.

– Житейское море, воздвигаемое зря, напастей бурю, к тихому пристанищу Твоему притек, – вопию Ти...

Низко опустил голову Федя. И мысли!.. Мысли!.. «Где тихое пристанище? Смерть?.. Искать ратной чести?.. Что будет у Строгановых? Неужели опять считать меха, записывать в книги?.. Сушить шкуры, поднимать волос?.. Не надо мне тихого пристанища – хочу боев!.. Хочу победы, как была у Степана Филипповича – Казанская славная победа!.. Боже, пошли мне смерть на ратном поле чести!»

Федя посмотрел туда, где стояли Марья Тимофеевна и Наташа. Первый раз подумал о том, что ведь Наташа – его невеста. Давно так было решено между его отцом и Степаном Филипповичем. Давно-то давно – да было решено тогда, когда был он сыном богатого купца, к самому царскому двору поставлявшего меха, когда заботливо подбирали родители лучших, с серебряной искрой, собольков – Наташе на шубу – Федин свадебный подарок. Теперь, когда в страшную январскую ночь лишился Федя и родителей, и всего богатства, когда сгорели сун-

¹⁹ Уральским.

²⁰ Траурный.

дуки с теми собольками, жениховскими подарками, и стал Федя гол, как мосол, нищим, дадут ли еще ему Наташу Исаковы? Все на нем чужое. И синий стаметовый кафтанец, и легкая на собачьем меху шубка, и шапка в опушке из потертой выдры – все это бедное и чужое, с чужого плеча – подарки Исакова и Селезнеева.

Наташа точно почувствовала на себе пристальный взгляд Феди. Краска покрыла бледные щеки. Она прижала в двуперстном сложении пальцы ко лбу и долго держала руку у лба. Под рукою в синей тени дрожали густые ресницы.

Прелесть Наташа!

Только теперь, когда почувствовал Федя, что, может быть, тоже в «одночасье», когда лишился родителей и богатства, лишился и Наташи, понял, как она хороша.

Да ведь он любит ее!..

Федя видел, как глубоко вздохнула, крестясь, Наташа. Щеки стали пунцовыми.

«Вчера, когда я утром выписывал из книг разные слова для неграмотного Исакова и сидел у окна, я слышал, как она ласкала Восяя... “Собаченька моя милая!” – говорила она... “Собаченька”. Какое ласковое слово! Да не то, что бы ласковое, а просто: – милое слово. И придумает же она! Не любила бы – не ласкала бы его Восяя, не говорила бы так нежно и мило».

«Ну что же, что беден?.. Что нищий?»

Федя повел плечами, расправил грудь.

«Да зато я сильный, молодой?! Пойду к Строгановым, накоплю богатства, заслужу в боях с вогулами и остяками великую славу, приду и к ножкам ее положу – вот тебе, свет Наталья Степановна, и богатство и слава!..

И не слышал, как тянул его за кафтанчик Исаков.

– На коленки, Федя, становись! На коленки. Святые Дары выносят!..

* * *

В Москве нечего делать. В Москве ни богатства не наживешь, ни славы не заслужишь... И правда надо ехать на Каму!

Эта мысль крепко засела в Фединой голове. Страшна стала Москва.

В тот вечер сидели в горнице Исаков и Селезнеев, ковыряли шильями в троечной сбруе, нанизывая на нее железные, оловом крытые бляшки Федя читал.

Над большими, тушью писанными листами горела в ставце лучина.

В густом сумраке, где чадно пахло сосновым дымом, звонко раздавались страшные и радостные слова. Вдыхали Исаков с Селезнеевым.

– Воскресл еси от гроба, всесильне Спасе, и ад видев, чудо ужасеся и мертвии восташа.

– Да, так было, – прошептал Селезнеев, старательно разжигая новую лучину. – Восстанут мертвые, и мы, когда умрем, будем ждать Спаса Нашего, Господа Иисуса Христа!

– Тварь же видящи срадуется Тебе, и Адам свеселится...

– Всякая тварь, Федя, от Господа. Всякая тварь Господу радуется. И конь и пес Господом даны на радость человеку. Жалей, Федя, всякую тварь земную...

Пока меняли лучину, в горнице было тихо. С крыши упал пласт снега, и слышно было, как он, шурша, рассыпался. Таять стало и по ночам. Близилась весна.

Ярко вспыхнула желтым пламенем свежая лучина, Федя, набравшись голоса, с силою прочел:

– И мир, Спасе мой, воспеваает Тя присно...

По всей Москве царил торжественная предвесенняя ночная тишина. Днем мела метель. Намела сугробы. Как в мягком пуху, были московские улицы. Не слышно было шагов пешехода. Да и кто пойдет в ночную пору? Добрые люди давно сидят по домам.

– Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мышцею Своею Господь!..

– Да радуются земная... Подлинно так, – не разжимая рта прошепелявил Селезнеев. Он закусил дратву зубами и шилом пропускал другой ее конец в дырочку железной бляшки. – Радости на земле-то сколько от Господа положено. И кто мешает? – Человек! Он всему злему заводчик!

И точно подтверждение его словам, в мертвой, густой тишине, разрывая ее, раздались дикие пьяные крики:

– Ай!.. Ай!.. Лови... держи!... Улю-лю-лю!.. А та... та... та!...

Исаков проворно задул лучину

– Опричники царские за кем-то погнали, – прошептал он.

– Потеха царская, – проговорил Селезнеев, – попритчилось что-то царю батюшке! Послал крамолу искать.

– Подлый ныне, Федя, народ стал в Москве, – сказал Исаков. – Все на кого-то доносит. Нечего тебе тут делать... И правда, поезжай на Каму, к купцам Строгоновым. У них вольнее тебе будет дышать!

Лучину не засвечивали. Селезнеева оставили спать у Исакова. Ложились в темноте. В тихой Москве все мерещились пьяные крики, вопли опричников и резвый скок их быстрых коней...

XI Рукобитие

Исаков побывал в Московской палате братьев Строгановых и узнал, что большой караван товаров пойдет только летом, когда вскроются реки, и пойдет медленно. Он будет заходить в Нижний Новгород и в Казань и везде будет закупать товары для строгановских городков. Но до вскрытия рек, санями до Волги поедет доверенный человек Карл Залит. Он едет один и, конечно, может доставить Федю.

В строгановской палате Чашниковы знали и там приняли участие в судьбе Феде. Старший приказчик сказал Исакову:

– Хорошее дело надумали, Степан Филиппович, Чашниковского сынка к Строгановым послать. У них он и ратному делу научится, и свое меховое не забудет. А там, как ему полюбит, так и станет. То ли сотником будет в строгановских дружинах, то ли скупать будет меха, разбирать их и в Москву доставлять. У наших купцов дело огромное. Молодому человеку там работа найдется всегда. А сами Строгановы не то что купцы, а почище и познатнее других бояр и князей будут.

Видал Исаков и Залита. Крепкий, широкоплечий, рыжий, с огненной, курчавой, короткой, больше по щекам, бородою, со шрамом на лбу, точно клейменный каторжник, Залит не понравился Исакову. Он хмуро выслушал приказчика и сказал:

– Доставить парня можно... Доставлю.

– У него, у Федора-то, – ласково сказал Исаков, – собака есть... Я знаю, ему бы так хотелось и собаку взять. Не стеснит ведь собачка-то вас в дороге.

– Это... нэт... это невозможна... – решительно сказал Залит. – Никакой собаки я брать не желаю. Мальчонок дело другое. Мальчонка доставлю. А куда там с псом поганым возиться. У Строгановых и своих собак целая стая! Санки у меня малыя, еле вдвоем сесть.

– Да зачем собак ехать. Она и так добежит.

– Ну, а потом, – резко сказал латыш. – Я челноком пойду по рекам. До самого городка их Канкора, в устье Чусовой... Там и совсем нет места собаке. И не люблю я их, псов поганых.

Приказчик поддержал Залита.

– И точно, – сказал он. – На что в дороге собака?

– Да не возьму я собаки, – крикнул латыш. – Ни за что не возьму. На дьявола нужна она, твоя собака!

– Любит ее очень мальчик-то наш!

– Любит – разлюбит... Собака!.. Эка невидаль... Зарежу я собаку и все!..

Исаков больше не настаивал. Он решил в уме: ну, поплачет Федя, расставаясь с Восяем, да ведь Восю не худо будет и у него. Наташа как полюбила Восю! Останется он ей на утеху. Хорошо ему будет. А летом – видно будет. Можно будет Восю отправить с караваном товаров. Авось там люди будут поласковее и подбрее, а то этот – вон какой сердитый, – чуть что не по нем – сейчас, как ерш иглами покроется. Такой колючий!..

Горько было Феде расставаться с Восяем, но горечь была смягчена тем, что Восю он оставлял на попечение Наташи, а Наташа...

Про то уже вся дворня знала, про то весело чирикали воробьи по исаковскому двору: Наташа будет женою Федору Гавриловичу Чашнику!

Не изменил своему слову Исаков. Ну и Селезнеев, крепко полюбивший Федора, помог ему в этом деле.

Когда зашла об этом речь, был семейный совет. На том совете были Марья Тимофеевна, Исаков и Селезнеев.

Исаков повел речь о том, что, когда жив был Чашник, а Федя и Наташа были совсем маленькими детьми, порушили они между собою, чтобы им породниться.

– Ну, а теперь, – поглаживая седеющую бороду, говорил Исаков, – теперь, когда, значит, Федор остался без ничего... Вот и хотел я... Значит...

Нелегко шли у него слова. Совестно было досказать свою мысль до конца.

– Наташа у нас, слава Те, Господи! без обмана какого!... По чистой по совести!.. Не увечна... Очами, или там рукою, али ногою... Все на своем месте... Собою красива... Не глуха... Не нема... Речью истолнена. А уже рукодельница!..

– И нравом послушна, – вставила Марья Тимофеевна, поджимая значительно губы.

– Не бесприданница... Мы ей сундук какой наложили, – продолжал Исаков. – Всего есть. И холстов и белья, и одежды, и шубы какие... Монисто, камни самоцветные... Колец сколько... Так я и думаю... Что ж... Говорили мы с Чашником – это точно... Я не отказываюсь. Говорили... Так ведь, когда говорили-то – Наташе тогда пятое лето шло. И Федя того и не знает... Вот я и думаю... Не такого жениха, может быть, Наташе надо... Ей можно какого боярского сына просватать... Князя какого... а... Марья Тимофеевна?

Марья Тимофеевна сочувственно кивала головою. Но тут вскочил со скамьи Селезнеев. Покраснела, побурела вся его голова-репка, серыми морщинами покрылась. Он забегал по комнате. То поднимет над головою руки с растопыренными пальцами, то заложит за спину, фыркнет, как разъяренный кот. Наконец, остановился против Исакова и, задрав голову кверху так, что борода стала поперек лица, вскрикнул визгливо:

– А слово?

– Слова мы, прямо сказать, не давали. Ни сговора, ни рукобитья не было...

– Еще бы, – завизжал Селезнеев. – Еще бы! Девочке пятый годок, а он – рукобитье... Сватов засылать!

– Да чего ты ершишься? Ишь взгомонился как!

– Чего... чего? Ох не речист я, не речист... а того... того... этого...

– Чего этого?.. Запутался, Ярославич.

– Любят они друг друга... А что беден?.. Велика беда... Поедет к Строгановым. Какая там его судьба будет, кто знает?.. Может быть, еще и князем каким вернется! Мы с тобой под Казань простыми жильцами пошли, а теперь стрелецкие сотники!.. А, что? Не речист я, а правду тебе скажу: не хорошее дело затеял. Федора собаки лишил... а нынче и невесты любимой лишаешь.

– Да постой?! Елова голова! Откуда ты взял. Любимой!.. Да почему ты знаешь, что они любят друг друга. Моя Наташа воспитания строгого. Из терема никуда... Из воли родительской не выйдет... Где же успели они слюбиться?

– Где?.. Где... Да ты в церкви на них посмотрел бы когда! Где гляделы-то твои были? Федя на свет Наталью Степановну, как взглянет, та аж полымем зальется!

– Грех-то! Грех-то какой, – воскликнула Марья Тимофеевна.

– На масляной качели наладили... Стали качаться, доска-то летает, Наташа визжит, а Федя – румяный, счастливый... Я смотрю – совет да любовь!..

– Ох, греха-то, греха-то... – стонала Марья Тимофеевна. – Девичьего стыда не жалеют... Эти мне качели! Сыму их проклятых.

– Так ведь, чаю, покаяться! – напустился на нее Селезнеев. – Вы, матушка Марья Тимофеевна, помогите мне. Как можно их друг друга лишать.

– Беден уже очень Федор Гаврилович-то, – растерянно сказала Марья Тимофеевна.

– Беден, да умен. И читает, и пишет, и арифметику знает... Он чего достигнет, Господу одному известно.

– Не на Каму же ее отправлять?

– И на Каме, матушка, люди русские, православные! Там, пожалуй, еще поспокойнее будет, чем в Москве...

Долго еще препирались они. Визжал и фыркал Селезнеев, оправдывался Исаков, отставала Наташино богатство Марья Тимофеевна. Наконец, Селезнеев набросился на нее.

– Вы, матушка, все о богатстве, а о счастье своей дочери не подумаете... А если она за Федором счастлива будет, а за кем другим может с горя зачахнет!

– О, типун тебе на язык!.. Тьфу!.. тьфу!..

– Пусть мне типун, лишь бы им, голубкам нашим, счастье!

Эти слова вдруг растрогали Исакова.

– Ну ладно, – сказал он – Я от старого слова не отказчик. Порешим так: никому ничего объявлять не будем. Сватов пусть Федор не засылает. Будем ждать вестей от него с Камы. Как его судьба обернется. Будет достоин свет Натальи Степановны – его и Наташа. Если кто без него зашлет сватов – скажем: молода девка. Не примем сватов. Ладно?

– Ладно... А сколько ждать будем?

– Наташе пятнадцать... Ну... три года еще подождем. Если она другого сама не захочет...

Селезнеев успокоился. Он про себя решил рассказать обо всем Феде, да как-нибудь и Наташе сказать, чтобы ждали друг друга...

XII Прощанье

Тягостно было прощание Феде с Исаковыми и Селезневым. Прижились они за это время друг к другу, и стал Федя им как родной. Прошались еще затемно. Солнце не вставало. Наташу позвали сверху из терема. Нижняя горница была скупо освещена одною свечою, да у иконы Спасителя в красном венецианском стакане металось лампадное пламя. В печке жарко пылали дрова. Заслонка была раскрыта, и красные отблески ложились на пол и на ноги собравшихся проводить Федю. Челядь толпилась у дверей. Залит уже приехал и возился на дворе, устанавливая кульки – подарки Исакова на дорогу и небольшой ларец Феде в маленькие легкие санки. По просьбе Феде, привели со двора Восяя. На него уже надели цепь и держал его рослый жилец.

Долго и горячо молились перед иконами. Потом дали Феде выпить стрелянную пенного вина. Выпили с ним Исаков с Селезневым, присаживались все, по обычаю, на лавки, вставали, а как настала пора расставанья, свет Наталья Степановна не выдержала. Бросилась на шею своему суженому, охватила его руками и стала покрывать мокрыми от слез поцелуями, куда попало: в щеки, в лоб, в шею.

Все были так растроганы, что никто не обратил внимания на эту, по тогдашнему времени, неприличную выходку.

Селезнеев зашел в угол за печку и сам заплакал.

– Ну... ну! – отрывисто говорил, точно хрюкал Исаков. – Вот оно как нынче-то... Мать... а мать... ты чего же смотришь-то!

Марья Тимофеевна разливалась слезами в три ручья.

– Пусть нацалуются, голубочки, в последний раз, – сквозь всхлипывания проговорила она. – Бог один ведает, увидятся-то еще когда.

Восяй, давно примечавший какие-то приготовления, казалось, понял в чем дело. Радостно взволнованный все эти дни, он вдруг стал необычайно грустный, взвизгнул и такими печальными, большими, укоряющими глазами посмотрел на Федю, что у него сердце перевернулось.

– Марья Тимофеевна, свет Наталья Степановна, – сказал Федя, – берегите мне Восяя!

Восяй бросился ему на грудь. Жарким языком лизал Федино лицо и скулил, скулил, скулил...

– Ну, пора! – решительно сказал Исаков.

Все задвигались, закрестились. Присели еще раз и пошли к дверям в сени.

– Наташа, останься с собакой, – приказал Исаков.

Наташа приподняла оконце и смотрела, как усаживался ее Федя рядом с рыжим латышом. Селезнеев заботливо подвернул ему полы шубы, уложил подле дорожную саблю – вчерашний его подарок Феде и крепко поцеловал Федю в губы.

Подле Наташи, пристально глядя в щель окна, визжал, скулил и метался Восяй. Жилец едва сдерживал его на цепи.

Латыш шагом тронул за ворота, все пошли за ним. Никого не осталось на дворе. Голуби, шумя крыльями, слегли на снег, сбились пестрой стаей над просыпанным овсом. Пахло со двора мокрым снегом, оттепелью, сеном и дымком. Казалось Наташе, что пахнет дальней, дальней дорогой, пахнет тяжелой разлукой.

– Восяй! – сквозь слезы проговорила она. – Собаченька моя милая! Что же это такое! Сердце мое! Сердце как ноет!

Восяй положил передние лапы на колени Наташе, лег грудью к ней, смотрел в ее заплаканные синие глаза своими черными, умными собачьими глазами и, жалобно повизгивая, плакал...

Точно жаловался ей на свое собачье горе.

ХIII

В дороге. Нечистая сила

Залит сидел крепко, вытеснив собою с сиденья Федю. И Феде, чтобы не выпасть из саней на раскат, пришлось выставить ногу и поставить ее на санный отвод.

Пара с пристяжкой некрупных, сильных вятских лошадей с хвостами коротко, поямщицки завязанными узлом, покойно бежала спорою рысью. Под дугою у коренника мирно позванивал колокольчик, три бубенчика на ожерелке у пристяжной ему вторили.

Только-только вставало зимнее солнце. Поднималось из густых туманов бледно-желтым шаром и плыло к голубым просторам. День обещал быть ясный, теплый, хороший.

Москва просыпалась. Кремлевские церкви гудели колоколами к ранней обеде. Из домов появлялись люди. Из пекарен вкусно пахло горячими калачами и сайками.

Сани попрыгивали с легким грохотом по разъезженным московским улицам, проваливались в сугробы, где темнела уже вода, шелестели по рыхлому разбитому снегу.

Навстречу тянулись деревенские обозы. Лохматые мелкие лошади, в запотевшей курчавой шерсти, мерно шагали, и им в лад позванивали колокольцы под дугами. Под рогожами лежал деревенский припас. Мужики в просторных азиях и валенках шли рядом с санями.

Все в это утро в Москве казалось Феде новым, невиданным и прекрасным. Никогда не была ему так дорога Москва, как теперь, когда он с нею прощался. Больно сжималось сердце, когда Федя вспоминал Наташу и готов был плакать, думая о Восяе. Не подозревал Федя, что он так полюбил собаку, и понял, кем он сам был для Восяя.

«Поди есть не будет от горя, – думал Федя. – «С голода подохнет».

Латыш молчал. Так было лучше и Феде думать свои думы под мерно отзванивающие колокольцы.

Дорогая сабля касалась его бока. Он нежно гладил ее рукою. Точно с нею он стал старше, более взрослым.

Проехали Московские ворота. Стрельцы в потрепанных красных кафтанах проверили пропуска, и развернулась перед Федей далекая ширь полей и холмов, пахло свежим родным запахом лесов, дорога стала глаже, лошади прибавили рыси, свежий ветерок обведал лицо. Казанский шлях упирался в холмы, над которыми еще редело восходными огнями небо.

* * *

На второй день пути с большого широкого шляха свернули в узкий лесной проселок. «Почему свернули?» – разве Федя знал. Латыш все молчал. За весь вчерашний день он и двух слов не сказал. Федя хотел спросить латыша, почему они покинули Казанскую дорогу и углубились в дремучие темные леса, но посмотрел на хмурое, угрюмое лицо с рыжими клочьями бороды и понял, что ответа от латыша не добьешься.

Отдохнувшие за ночь на постоялом дворе лошади легко бежали по мало подтаявшей лесной дороге. День был сумрачный. Небо грозило снегом. Лиловые тучи низко нависли над лесом. Рано стало темнеть.

Уже в сумерках подъезжали к одинокому двору, стоявшему в лесной чаще. Сердитая собака глухо залаяла за забором и загремела цепью. На деревянном крыльце с привязанной к нему елкой появился старик в рубахе и портах, в накинутом на плечи бараньем тулупе.

– Карл что ли? – сильным голосом спросил он.

– Я, – отвечал латыш. Они заговорили по-латышски.

Залит приказал Феде убрать и поставить лошадей. Когда Федя пришел в избу, он заметил латыша в оживленной беседе с хозяином. На столе стоял горшок горячих щей и лежал буханок хлеба.

– На вот, поешь, – сказал Залит. – Поди устал. Заморился.

– Нет, я ничего, – сказал Федя и принялся за еду. Но за эти два дня пути на свежем зимнем воздухе Федю разморило. Едва он кончил есть, как глаза его сами стали слипаться, заломило и плечи и ноги и потянуло лечь на широкую лавку, накрыться шубою и заснуть.

– Я вам не нужен, Карл Иванович? – спросил Федя.

– Нет. Лошадей я сам напою.

– Тогда я лягу.

– Ложись. Отдыхай.

В избе было темно. Хозяин не зажигал лучины. Федя улегся на лавке. Из широкой печи тянуло теплом. Было видно, как в ней под пеплом краснели уголья. Будто кто смотрел из печки кровавыми глазами. Маленькое оконце, заклеенное плотной бумагой чуть намечалось на темной стене. За ним глухо шумели высокие сосны дремучего бора.

Федя лежал под шубою, открыв глаза. Ему все слышалось: «дини-дини-динь-динь» – звон колокольцев, все казалось – шуршат полозьями сани, глухо постукивают на обледенелых ухабах, да мерно топочут бегущие лошади. В углу подле печки тихо говорили латыши. Хозяин в чем-то убеждал Залита, Залит отговаривался.

Под их разговор Федя и не заметил, как крепко заснул.

* * *

– Ты знаешь, кого везешь? – спросил Залита старый латыш.

– Знаю... Купеческого сына Федора Чашника... Поручили доставить к Строгоновым.

Будет учиться торговому делу.

– Не брешь, Карл. – Старик засмеялся беззубым ртом.

– Чего мне брехать? Собака брешет. Я не собака.

– Так говоришь: купеческого сына Чашника везешь?

– Ну, да.

– Ты Карл большой дурак.

– От такового слышу.

– Ты везешь не Чашника... Вчера проезжали здесь царские опричники. Остановливались у меня. Коней кормили. Ищут: от царского гнева укрывают какого-то молодого боярского сына. Князя... знатнейшего рода.

– Не похоже на то. Я сам вывез мальчика из дома стрелецкого сотника.

– Не похоже... Ты саблю заметил?... Ка-а-кая сабля!.. Это у купеческого сына, что в ученье едет, такая сабля!.. А лицо...

Старик засветил, раздув уголек, лучину и поднес ее к спящему Феде.

– Видал? Этот красавец – купеческий сын?

– Князя бы так не отправили. С ним были бы слуги.

– Когда укрыть-то надо!.. Лошадей он заводил, распрягать, супонь отпускать нагнул, а на груди мешок монетами брякнул!.. Казны с ним!.. Уйма.

– Ну, дальше что?

– Дальше... Казна эта наша.

– Я тебя не понимаю.

– Спит.

– А ты подойди, тронь его. Сейчас за нож хватается. Он молодой, сильный, ловкий. Ты старик, у меня нога поврежденная... Да и не люблю я мокрого дела²¹. Кровь никуда не спрячешь. Говорит человеческая кровь. Вопиет о мести.

– Я сам не люблю, чтобы следы оставлять. Кто тебе говорит, чтобы это здесь делать. Сделаем по-иному.

– Царь не шутит с разбойниками. Сам говоришь – опричники близко.

²¹ «Мокрое дело» на воровском языке – убийство.

– Да он-то кто? Крамольник! Еще награду получишь... На опричников скажешь! Они не отрекутся.

Залит покосился на спящего Федю. Тот, точно почувствовал на себе взгляд латыша, откинул со лба щекодавший его волос.

– Не справлюсь, – прошептал латыш.

– Со спящим?

– Вскочит... Опрокинет... Ты не смотри – он кроткий такой, да вежливый. По горлу ножом полоснет – мое почтение.

– Я тебе дам зелья, понимаешь.

– Ну?

– Бирючий овраг знаешь?

– Бывал.

– Завтра, как на Клязмино поедешь – будет тебе три дуба. Вот как те три дуба минуешь, пойдет вниз в овраг лесовозная дорога. По ней спустишься. Заночуешь... Там и...

Федя неясно замычал во сне. Рукою потянулся к поясу, где был нож.

Залит вздрогнул и показал старику.

– Видал?.. Какие силы стерегут его!

– Я тебе сказал, – прошептал, наклоняясь к самому уху Залита, старик, – зелья дам... Ничего не услышит. Под левую лопатку нож... А то вожжей затянешь... Все твое... Мне половина.

– Нет, ты мне дай такого, чтобы насовсем... Без ножа.

– Понимаю... – старик, скривив глаз, смотрел на лавку, где едва обрисовывался его молодой постоялец, крепко закутавшийся шубою. – Можно и совсем... Но с ножом всегда лучше.

Залит не отвечал. Долгое и тяжелое было молчание. Наконец Залит, чуть слышно, проговорил:

– Не люблю я с ножом... След оставляет. Закровянишь одежду.

– Первый раз действительно страшно, – прошептал старик, – потом ничего... Так дать настоящего крепкого зелья?

Опять наступило долгое молчание. Последний отблеск догоравшего дня погас на бумажном оконце. В избе стала непроглядная тьма. Проснувшийся Федя лежал с открытыми глазами. Он слышал, как глухим не своим голосом сказал Залит старику по-латышски непонятное короткое слово. Старик злобно засмеялся и, ответив утвердительно, ушел за перегородку.

И почему-то от этих непонятных слов стало Феде страшно одиноко и жутко в этой темной избе, в глухом лесу, с чужими людьми. Он стал горячо молиться. Молился он долго, и молитва его успокоила, но заснуть уже до самого утра он не мог.

* * *

Выехали поздно. Залит ехал шагом, сдерживая порывавшихся вперед хорошо кормленных лошадей. Опять оба молчали. Несколько раз Федя хотел спросить латыша, почему они бросили большой, широкий Казанский шлях и стали путаться кривыми, проселками по дремучему лесу, где могли быть и волки и медведи, что это за лес? Скоро ли будет какой-нибудь город? Но взглянет на рыжие ключья бороды своего спутника, на его хмурое, злое лицо, от шрама на лбу казавшееся зловещим, и замолчит.

«Где получил он шрам?, – думал Федя. – В бою? Если в бою, на чьей стороне он был – на нашей или на Ливонской? Может быть, дрался вместе с врагами нашими, был взят в плен и поступил на службу к Строгановым?.. Бывал ли он раньше на Каме и на Чусовой? Едет он уверенно, видно, что хорошо знает эти места. Спросить?»

Посмотрит Федя на лицо латыша и поймет, что не ответит ему латыш. Скривит презрительно и злобно свое лицо, скосит стальной, блестящий глаз, и так станет от этого обидно

и неприятно Феде! Он привык к ласке. Исаков и Селезнеев всегда охотно отвечали на его вопросы. Ну да они были русские, свои, православные.

Нет! Лучше молчать, затаив в себе свои вопросы, чем увидеть это презрение взрослого к юному. Приметить нелюбовь чужеземца к русскому!

Они ехали часа три, никого не встречая, – ни пешего, ни конного. Лес был глухой. Зимняя птица не пела, и если бы не путаное кружево узора заячьих следов на зарыхлевшем снеге, можно было бы подумать, что лес никем не обитает.

День был сырой и теплый. Небо серое, низко спустились темные тучи к земле. Легкий подувал с юга ветерок. С одной стороны лес кончился, была ширь полей, и нигде ни дымка, ни избы, ни деревушки.

В стороне стояли три старых корявых дуба. Они раскинули кривые ветви, переплелись ими и, точно три страшных великана, шли на встречу Феде. Против них латыш опять свернул в лес и поехал шагом по старому, уже засыпанному санному следу.

Была ли там дорога? Федя чувствовал, как сани натыкались на пеньки и толкались. Лошади похрапывали, насторожив уши, и шли неохотно. Латыш покрикивал на них:

– Но!.. Но!.. Впер-рот! Впер-рот!

Темнело. Дорога спускалась в овраг. Лес кругом был молодой и густой. Серые сосны стояли часто. Везде лежал валежник. Кое-где попадались расчищенные поляны, и на них стояли поленицы дров. Но нигде не было слышно стука топора, и не было видно человеческих следов.

На небольшой прогалине показался шалаш. Залит направил лошадей к нему.

– Тпру!.. Слезай, Федор... Здесь заночуем. А завтра опять на шляху будем. Верст тридцать мы выиграли, спрямили лесами.

Эти слова объяснили Федору, почему плутали они по лесам и успокоили его. По приказанию латыша Федя набрал валежника и дров и, разжегши огнивом трут, раздул большой костер.

Желтое пламя вспыхнуло и загудело. Оно осветило передние сосны, и еще гуще показался за ними мрак, спускавшейся на землю ночи.

Латыш устроил треногу, навесил на нее два чугуна и стал заправлять похлебку.

Лошадей не отпрягали. Он стояли в стороне и косились на пламя костра. Когда похлебка стала закипать, латыш, помешивая ее деревянной ложкой, сказал Феде:

– Поди-ка, Федор, напой и задай корма лошадям.

Федя пошел от костра. Залит внимательно следил за ним. Когда Федя, отвязав лошадей, повел их с санями вниз к темному ручью и скрылся во мраке, латыш проворно достал из-за пазухи тряпочку и, развязав ее, всыпал зеленый порошок в кипящую похлебку. Похлебка запенилась и зашипела. Латыш стал ногою раскидывать костер и притушивать его в снегу. Лицо его было искажено злобою и страхом. Он пугливо осматривался по сторонам. В наступившей мгле совсем скрылись сани и Федя.

Залиту показалось, что сзади него кто-то крадется.

Дрожащий, он не смел оглянуться. Он напряг свой слух.

Что-то шуршало между низких прямых и сухих тонких ветвей частого сосняка. Сломалась с легким треском веточка. Этот шум был едва слышный, но Залиту он показался громче пушечного выстрела. Он быстро оглянулся. Две огненных точки блистали в лесной чаще.

– Чорт!.. чорт!.. – прошептал латыш и выхватил из ножен кривой нож.

Редкие волосы зашевелились на макушке его головы и встали дыбом. Холодный озноб охватил его тело.

– Э! Чепуха!.. Померещилось!.. Еще чугуны перепутаю.

Он снова нагнулся к чугунам. И опять сзади упала затрещавшая веточка. Отчетливо стали слышны шаги.

Залит быстро оглянулся. Черная тень метнулась в лесной гуще. Вспыхнули и погасли огоньки чьих то неведомых глаз. Страх заставил Залита задрожать.

– Федор! – крикнул он в каком-то исступлении. – Федор! скорее!.. Ко мне... На помощь!..

– Э-геп!.. Я... – совсем близко отозвался Федя.

В то же мгновение черная тень стремительно прынула из чащи, опрокинула в своем прыжке оба котелка, залила похлебкой догоравшие угли и исчезла в вдруг наступившей мгле.

Залит как сумасшедший кинулся туда, где погромыхивали бубенцы лошадей. Из тьмы ночи донесся его дикий крик, неистовый звон бубенцов, треск саней... потом все стихло...

XIV Четвероногий гонец

В тот день, когда уехал Федя, уже вечером, после ужина, в женском тереме как всегда засветили две восковые свечи. Наташа стала раскладывать из шкатулки пестрые индийские шелка, чтобы по черному плату киевским метким швом вышивать сказочные, чудесные цветы.

Три сенные девушки помогали ей. На столе, на блюде, лежали сласти: медовый постный сахар, каленые орехи, изюм, пряники и жамки.

Было слышно, как поскрипывал под иглою туго натянутый шелк, да иногда какая-нибудь девушка тяжело вздохнет и тихо скажет: о, Господи!..

– Скучно мне, девушки, – сказала Наташа, – вот как мне грустно теперь...

– Еще бы не быть скучно, – ответила черноглазая бойкая Дуня, любимица Наташи. – Уехал суженый в чужедальнюю сторонushку... Что там его ожидает.

– И в Москве не сладко, – сказала другая, девушка постарше, с худым, темным лицом. – Сегодня ходила в церковь... Опять бояр пытаться везли. На шести санях. С детьми.

– О, Господи!..

– Спойте мне, девушки, какой-нибудь хороший стих, – сказала Наташа.

– Что же спеть-то тебе, свет Наталья Степановна? – сказала Дуня.

Она оторвалась от работы, вынула изо рта прикушенный зубами шелк и задумалась. Темные глаза ее устремились в далекое пространство, точно искали в углу тесной горницы образы и слова хорошо знакомой песни.

Полный, грудной голос ее вдруг наполнил всю горницу и задрожала слюда в маленьком волоковом оконце.

Во святой земле, православной
Нарождается желанное детище
У тоя ли премудрый Софии...

Пела Дуня, и карие глаза ее блистали золотистыми огоньками. Марфа, та девушка, что ходила утром в Москву, пристала к Дуне негромким низким голосом, и два девичьих голоса, сплетаясь, понеслись по терему, стали слышны внизу, где сидели за брагой Исаков с Селезневым, в соседней тесной боковушке, где прилегла Марья Тимофеевна, на дворе, где в сумраке у колодца жильцы поили лошадей.

...Соизволь родимая матушка,
Осударыня премудрая София,
Ехать мне ко Земле светло-Русской
Утверждать веры христианские.

– Вот так-то, – качая красивой головкой, сказала Наташа, – поехал и наш Федор Гаврилыч.

Наезжает он, Георгий-храброй,
Ко той земле светло-Русской,
На те леса, на темные,
На те леса, на дремучие.

– Ох, и где-то он теперь? – вздохнула Наташа. Девушки продолжали согласно петь.

– Наезжает он, Георгий-храброй,
На тех зверей, на могучих,
На тех зверей, на рогатых...
Ой вы, звери, звери могучие!
Ой вы, звери, звери рогатые!
Заселитесь, звери могучие,
По всей земле светло-Русской!..

На мгновение пение прервалось, задрожав на высоком, красивом звуке. И в тишину терема донесся со двора протяжный, печальный вой.

– Это Восяй плачет по своему хозяину, – сказала Наташа.

– Он, боярышня, сегодня, как Федор Гаврилович уехал, ни крупиночки не ел, и воды даже ни капли не пил, – сказала Дуня. – Полная кошелка у него костей и даже мяса ему жильцы положили, а он только морду воротит. Запищит жалобно, словно ребенок заплачет, нос в лапы уткнет и так посмотрит, только что не скажет.

– Да вот, – сказала пожилая, – и пес, а тоже чувство какое сильное. Все понимает!

– Да пес, прости Господи, – сказала Дуня, – он вернее человека будет. Пес и простит и забудет, если кого полюбит, а человек обиду-то, что камень за пазухой носит... Ишь скулит, как жалостно!

– Ну, пойте, девушки, да и бай-бай пора, чай, боярышне, – сказала Марфа и завела своим густым, точно струна звенящим голосом:

– Егорий где наш храброй,
Ты спаси нашего Федора.

Дуня, улыбаясь, пристала к ее голосу:

– Федора, свет, Гаврилыча
Во поле и за полем,
В лесу и за лесом,
Под светлым под месяцем,
Под красным солнышком,
От волка от хищного,
От медведя лютого,
От зверя лукавого.

– От человека злого уберег бы моего Федора Гавриловича святой Георгий, – сказала Наташа, вставая из-за пяльцев. – Ну спасибо, милые, на беседе.

Девушки собирали работу и, кланяясь, уходили из горницы. Наташа подошла к своей постели и мягко опустилась на стеганое одеяло. Дуня, всегда раздевавшая ее, стояла подле.

Руки Наташи бессильно упали на колени, голова поникла, длинные русые косы сползли на грудь. Наташа стала их расплетать дрожащими пальцами.

– Господи!.. Как воеет!.. Спать не смогу... Плачет собака-то...

– Пойти унять его?

– Не уймешь, Дуняша. Пусть выплачет свое горе! Так-то легче... И ему... и мне... Хотя бы весточку какую ему послать? Финиста ясна сокола сыскать, чтобы слетал к нему?..

* * *

Дуня расплела Наташины косы. Медным гребнем расчесывала золотистые волны.

- Боярышня, как думаешь, если его теперь пустить, ведь он найдет Федора Гавриловича?
- Кого пустить, Дуня?
- Восся... С цепи снять и за калитку выпустить?
- Так что же будет? Он убежит. А Федор Гаврилович наказывал, чтобы нам Восся беречь.
- Он, свет Наталья Степановна, умный. Никуда он не убежит. Следом пойдет и пойдет.

И найдет Федора Гавриловича.

- Ну, найдет... А толку-то что?

– Как что. Да ты же ему напиши какую ни есть записку – он и прочтет, возрадуется.

– Как написать-то, – вздохнула Наташа. – Я читаю, не пишу – писать в лавочку хожу.

– А мы вот, как сделаем. Ты по-церковному-то в книгах маленько разбираешь?

– Так... больше по памяти, какое место упомянула.

– Вот и выбери, какое местечко вразумительное, чтобы Федор Гаврилович понял, что от тебя Воссяй прибежал. То-то радости будет! Да и тебе спокойнее. От волка от хищного, от медведя лютого, от зверя лукавого, да и от человека уберезет собака Федора Гавриловича. Она сильная. Утром-то два жильца еле сдержать на цепи могли. Прямо цепь рвет, аж трещит... А зубища-то!.. Что у волка!

– Не собака уберезет человека, а молитва ко Господу.

Наташа глубоко вздохнула.

– Достань, Дуня, с полочки под иконами, псалтырь. Знаешь, в кожаном переплете, самая малая книга.

Наташа листала тяжелые пергаментные страницы рукописного псалтыря. Она вглядывалась в пеструю вязь крупных славянских букв, в многочисленные титлы, точно черные птицы летавшие над строками. Разглядывала узорные тушью, киноварью и купоросом расписанные заглавные буквы и, едва умея читать, различала каждый псалом, которые все знали наизусть.

Сколько раз читал их батюшка, отец Георгий, а в молитвенной тишине их слушала вся семья. А последние месяцы их почти каждый вечер читал Федя и по тому, где больше замусолены были и почернели углы страниц, где самые строчки потемнели от усердных пальцев и от восковых капель, можно было судить, какие псалмы были наиболее почитаемыми.

– Вот, – сказала Наташа, – хорошей стих... Ты думаешь, Воссяй найдет Федю?

– Найдет, свет Наталья Степановна. Теперь тихо – Василий Ярославич домой убрался, я слышала, как ворота запирали. Батюшка ваш спать полегли. Никто не услышит. А он... Слышите, как скулит, воет и плачет и мечется на цепи, аж сердце надрывается. Вы, какой стих надумали, вырежьте, мы его зашьем в шелковую ширинку, да на ошейник накрутим и навяжем. Вот-то хорошо будет! А уже за собаку не беспокойтесь. Так-то побежит по следу, причуивая, найдет Федора Гавриловича, а ему с вашей молитвой и совсем ладно будет.

– А латыш?

– Что же, боярышня? И латыш не зверь – человек. Покуражится, покочевряжится, а уже ничего не поделаешь. Собака от них не отстанет. Не убьет он собаки.

Наташа, молча, смотрела то на Дуню, то на псалтырь, то на занавешенные голубою занавеской окна. Весь дом спал глубоким, крепким сном, заливался различными храпами, стоявшими по всем его спальням, людским, жилецким, девичьим, боковушам и клетям. На дворе непрерывно выл, стонал и визжал, точно рыдал Воссяй.

– Ну, хорошо, – наконец прошептала Наташа. – Дай мне, Дуня, ножницы!

* * *

Полный месяц ярко светил на дворе. Густые синие тени от домов, сараев и высокого забора легли по хрустящему, подмерзшему ночью снегу. Длинные, витые, толстые в основании, тонкие на конце ледяные сосульки алмазным кружевом свисали с крыш. Высокие березы в глубине двора казались в лунном блистании живыми. Таинственны были качели между ними, и Наташе показалось, что тихо покачивается их тяжелая доска.

По синему, темному небу в ярком сиянии месяца, точно души усопших, плыли серебряные, воздушные, легкие облачка и Наташе казалось, что месяц стремительно мчится им навстречу, все оставаясь на месте.

Было смертельно страшно.

Никогда Наташа в этот зимний ночной час не выходила из своей горницы, никогда не видала она своего двора в обманчивом лунном свете.

Как только скрипнули деревянные, густо посыпанные песком ступени под ногами у Наташи, собака замолкла. Звякнула натянувшаяся цепь. Легкой побежкой Наташа подбежала к Восюю и опустилась на колени. Восюй положил ей голову на руки и с таким отчаянием посмотрел на нее, что в Наташе укрепилась уверенность, что Восюй найдет Федю.

– Восююшка, собаченька милая, – тихо сказала Наташа. – Отыщи ты нам нашего свет-Федора Гавриловича.

Восюй глубоко вздохнул и забил по снегу пушистым черным хвостом.

– Постой, боярышня, я навяжу ему ширинку.

– Дай, Дуня, мне. Я с молитвою привяжу ее.

Подняв к небу большие, заплаканные, первое горе познавшие девичьи глаза, отразив в их глубокой синеве ясный месяц, Наташа шептала молитву. Потом тонкими пальчиками укрупчивала и увязывала шелковую ширинку, хрустящую бумагой.

Дуня осторожно сняла цепь.

– Пойдем, Восюй.

Собака точно понимала, что от нее требуют. Она послушно пошла подле Наташи, державшей ее за кольцо ошейника.

Дуня неслышно отодвинула дубовый засов и, приоткрыв калитку, выглянула в нее.

Серебряным полотном тянулась улица, и темные избы с крутыми крышами в сиянии месяца казались теремами царевен из сказки.

– Можно, боярышня, – поманила она рукою Наташу. – Никогошеньки никого на всей на Москве!

Наташа подошла с покорно шедшим рядом с нею Восюем к калитке.

«Можно ли перекрестить Восюя, – подумала она. – Пес ведь... Поганный пес... Ну, какой же он поганный? С молитвой гонцом идет к моему жениху!»

С верою перекрестила собаку. Поцеловала ее в голову. – С Богом, Восюй!..

Вынула пальчик из кольца. Собака посмотрела в глаза Наташе, вильнула хвостом, опустила морду, нагнулась и вдруг понеслась широким собачьим наметом, сначала, виляя хвостом, потом опустив его низко «поленом», по-волчьи.

Обе девушки вышли за калитку и следили за Восюем. Черная точка неслась по серебряному холсту озаренной луною улицы, домчалась до угла и свернула, скрывшись за домом.

– А ведь верно пошел Восюй, свет Наталья Степановна, – говорила Дуня, Федя под руку Наташу. – Ну увидал бы кто из людей нас теперь! Господи! Чего не наплели бы и на вас и на меня.

– Никто нас не видал, – улыбнулась в первый раз за день Наташа. – Вот разве луна?

Дуня погрозила пальчиком месяцу.

– Не скажи никому, лунушка-луна, как девки по ночам гуляют.

Обе неслышно прокрались в светелку Наташи.

XV

Навстречу солнцу!

Глухой темный лес шумел над Федей. Где-то далеко звякнули в последний раз колокольцы и бубенцы и смолкли. Угольки разбросанного костра, залитого похлебкой, дотлевали в снегу. Низкие темные тучи делали ночь еще черней. Федя был один в неизвестном лесу, но ему не было страшно.

Подле него был Восяй! Разве не чудо было, что Восяй вдруг очутился подле него в этом страшном лесу?! И это чудо наполняло сердце Феде такую страстную глубокою верою в Промысел Божий, что уже не было места в его сердце страху.

Он ласкал Восю, и Восяй ласкался к нему. Восяй пригибался к земле, Восяй клал морду на грудь Феде, вилял хвостом, тихо, сердечно повизгивал, точно не знал, как лучше показать Феде все свои собачьи ласки. Федя рассказывал Восю все то, о чем думал он эти два молчаливых дня, и ему казалось, что Восяй его понимает. Внимательно глаза в глаза смотрела собака, точно и правда слушала и понимала рассказ Феде.

Шла свежая ночь. И хотя и было морозно, но сквозь мороз чувствовалось дуновение весны. В шубе было тепло, Федя не разжигал костра. Он уселся на подтаявшей земле, на месте костра, на груди обгорелого хвороста и полою бараньей шубы укутал Восю.

Так коротали они долгую зимнюю ночь.

Не было сна. Мысли неслись в голове. Что делать? Вернуться домой? Начинать все снова?.. Почему Залит покинул его? Что замышлял он? – Федя заметил нож латыша, валявшийся подле костра. – Что делал Залит этим ножом? Резал ли хлеб?.. Вон большая горбушка его валяется возле опрокинутого чугуна... Или... что худое замышлял?

Вчерашняя ночь вспомнилась Феде. Да... что-то подозрительное и страшное было в том, как короткими и вескими словами перемолвились два латыша. И весь путь по лесам был подозрителен. Каждый час латыш мог вернуться... Или завез он Феде нарочно в глухой лес и бросил... Но... для чего?..

Ветер становился сильнее. Точно море шумел вершинами сосен лес. В небе образовались просветы. Медленно приближался рассвет, и сквозь лес ощущался близкий ясный восход. Желтело между деревьями.

Федя приподнял за передние лапы Восю и любовался им.

«Вот он какой у меня умный Восяй?!.. Нашел!.. Отыскал меня!..»

Слезы умиления навернулись на глаза мальчика. Рукою он перебирал густой собачий мех, заглядывал в темные глаза Восю, блиставшие, как два черных алмаза. Его пальцы ощупали ошейник, нашли шелковую ширинку²². Федя расправил шерсть. Малиновая ширинка?!.. В ней, что-то зашито... Шуршит под шелком бумага. Лицо Феде стало задумчивым.

– Так ты еще и вестником ко мне прибежал, – тихо сказал Федя. – От кого же ты мне принес это?

Восяй, раскрыв пасть и обнажив белые зубы, высунув алый язык, смотрел Феде в глаза. Федя прочел его ответ.

– Сам знаешь от кого. От свет Натальи Степановны.

Федя снял малиновую ширинку, распорол шов ножом, вынул бумажку.

Две строчки из так хорошо знакомого ему псалтыря Степана Филипповича!

Было уже совсем светло.

Федя прочитал дорогие, святые слова.

²² Узкая полоска.

– «На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия»... – было на одном отрезке. И на другом стояло: «Ангелам своим заповест о тебе на руках возьмут тя, да не преткнеши о камень ногу твою»...

Федя поднял голову к небу. Сквозь частокол стволов просвечивало золотое солнце. В этих двух строках девяностого псалма Давидова он прочел ответ на все свои вопросы и сомнения.

Он встал. Поднял и положил за пазуху горбушку хлеба, спрятал за голенище нож Залита, гордо и смело выпрямился.

Бессонной ночи как не бывало, Федя не чувствовал утреннего холода. По всем жилкам бодрая струилась молодая, горячая кровь. Алкала подвига ратного.

Федя знал, что ему надо делать.

Он раздвинул ветви деревьев и смело зашагал прямо лесом. Восяй покорно пошел за ним. Навстречу солнцу!

XVI

Кто за кого?

Путь, путь!..

Бесконечно долгий путь пешком. Если нельзя было добраться до Строгановых лошадьми и на лодках с верным человеком, если верный человек его покинул, оказавшись неверным, Федя доберется до самого Каменного пояса пешком. При нем бумаги – епистолия²³ к Строгановым, при нем немного денег. Да разве нужны были деньги путнику в тогдашней темной, забитой, Иоанновой, православной Руси, в Московском царстве-государстве?

С раннего детства слышал Федя, как пешком, с котомкой, да посохом по всей земле Свято-Русской ходили богомольцы и богомолки, странники и странницы, старики и старухи, юноши и девушки, землепроходцы, вольные люди, и никто, никогда их не обижал. Ходили на далекий север в обитель Соловецкую, ходили в святой град Киев, добирались через чужие земли до Иерусалима и лавры святого Саввы. Где, где не бывали странники?.. Везде их принимали, Христа ради.

Так пошел и Федя.

Постучит в обед в окно затерявшегося поселка; откинется рама с бумагой, пахнет душным запахом курной избы, телятами и овцами, и выглянет темное лицо крестьянина.

Испуганно смотрит на саблю на боку у Федя, на нож, на собаку. Не похож Федя на странника.

– Дай хлебушка, добрый человек, Христа ради!..

И вот это-то «Христа ради» открывало сердца, давало доверие.

– Зайди... Не осуди на малом.

В избе еще внимательнее смотрит хозяин на странного гостя. На ногах остатки сапог, да онучи, потрепана шуба, видала ночлеги у костров, рвалась в лесной чаще. И странно на этом оборванном уборе лежит дорогая в серебре сабля.

– От царского гнева что ли бежал?

– Нет.

– Казак?

– Нет.

И Федя рассказывал, куда и зачем он идет.

Везде Федя находил и пищу и ласковое слово. Где подвезут его к Волге поближе, где дорогу покажут, где заночует, где переднюет, почитает на память псалмы, споет стихиры – и всюду принят, обласкан, обвеян теплым русским гостеприимством.

Человек Божий!

Чем дальше уходил Федя от Москвы, чем ближе была так желанная ему Волга, тем меньше становилось дорог, тем реже были селения, деревушки, отдельные избы лесорубов и охотников.

Весна наступала. Звенели ручьи. Из черной, сырой земли везде пробивалась трава, лес издали казался густым и лиловым, по вербе белыми пушинками побежали барашки, с орешины свисали зеленые вьющиеся червячки цветов, и легче стало дышать.

На последнем ночлеге у охотника Зырянина ему показали лесную дорогу, по которой Федя должен был к концу дня выйти на большой Казанский шлях, к городу Свияжску.

Но не понял ли Федя, что толковал ему Зырянин, или дорога, куда он свернул в лесу была не та, но только она становилась все глуше, колеи исчезли, она поросла молодой травой, белые

²³ Епистолия – письмо.

цветочки, росшие по лесу, поползли по ней, и наконец она исчезла, Федя пошел ее искать, хотел вернуться обратно и окончательно запутался в лесу.

Когда Федя заметил, что сбился с пути, он стоял под громадным, кряжистым дубом. Федя запомнил продолговатое дупло в нем, исполинские ветви, тянувшиеся во все стороны. Ими точно растолкал от себя лес этот дуб, образовав небольшую поляну, густо поросшую желто-коричневым папоротником.

В поисках дороги Федя шел долго. Когда начал искать, солнце было над головою, коротка была тень, а теперь тени тянулись далеко, и иногда сквозь лесную гущу просвечивал красный солнечный диск.

И опять тот же дуб. То же дупло. И папоротник примят под ним. Видно: леший водил Федю по лесу. На суку чмокает серая белка. Смеется над Федей. Отчаяние напало на Федю. Куда же идти? От усталости ломило все тело. Федя решил заночевать в лесу. Хлеб еще был, вода была недалеко, Федя сложил небольшой шалаш, развел костер и прилег на корнях у дуба. Усталый Восяй лежал рядом.

«Утро вечера мудренее», – думал Федя, устраивая себе из сухого папоротника ложе. Он поел хлеба с водой, накормил исхудалого за время пути Восяя и прилег.

Медленно и незаметно вступала ночь в лес. Смолкали лесные шумы. Еще долго, почти в темноте пели птицы, да где-то далеко, в самой чаще, куковала кукушка. Потом все стихло. Ночью кричала сова, но и она смолкла. Федя спал крепким сном. Его сторожил Восяй.

Проснулся Федя, когда еще было темно. По светлевшему небу тянула стайка диких лебедей. Они протяжно и печально кликали – и этот звук и разбудил Федю. Сырой туман поднимался с земли. Лес был наполнен гулким шумом тетеревиного бормотанья. Совсем близко от Феде порвалась из лужицы старая кряква. Немой и, казалось, пустой лес оживал.

Долго сидел Федя, прислушиваясь к этой шумной лесной жизни и стараясь понять ее. Восяй лежал смиренно подле него. Он тоже слушал, насторожив уши, приглядывался в светлеющую мглу и сладко зевал, выворачивая глаза.

Тетерева и глухари смолкали. Хор маленьких птичек – снегирей, клестов, чижей, малиновок, синичек, сменил токование крупных птиц. Туман оседал росой на землю. На каждом беленьком цветочке алмазная горела капля. За одну ночь, казалось Феде, набухли на деревьях и кустах почки и лес стал гуще.

– Пойдем, – сказал Федя, вставая, – пойдем Восяй, куда-нибудь да выйдем. Если идти прямо – где-нибудь да будет конец леса...

* * *

Нелегко был прямой путь. То и дело сваленные бурей громадные ели преграждали его. Они лежали косматыми чудовищами. Их приходилось обходить, и Федя терял направление. Он старался идти на восток. И пока солнце было низко, это ему удавалось, но по мере того, как солнце поднималось, Федя невольно уклонялся к югу и боялся, что снова закружит.

Голод давал себя чувствовать. Туже подтягивал пояс Федя, жевал сухие листья, кору, стараясь себя обмануть. Восяй был счастливее его. Он что-то находил во мху, за кем-то гонялся. Хрустели на его зубах чьи-то косточки и он помахивал хвостом.

То густая поросль кустов – ольхи, ореха – перегородит путь, и надо или обходить ее, или продираться через нее, то крутой овраг станет поперек. Шумит внизу ручей. На северном пристене лежат пласты ноздреватого, почерневшего снега, и из оврага несет холодом, как из погреба.

К вечеру Федя совсем выбился из сил, а подвинулся ли он к цели пути, или нет – он и сам не знал. Все время приходилось уклоняться в стороны.

Опять был одинокий, голодный ночлег в лесу. Опять лесные шумы пугали Федю и не давали ему спать.

И еще, и еще прошли дни. Леший точно не хотел выпускать Федю. Голод мучил. В забытии сна все снилась еда. Горячие, душистые караваи ржаного хлеба, грешневые блины целыми стопками, белозерский снеток, поджаренный в масле. Федя просыпался. Ему мерещилось, что – вот он – лежит каравай хлеба. Протянуть только руку. Он протягивал руку, а хлеб прыгал от него на дерево, висел на суку, Федя тянулся за ним, а хлеб был уже на небе – и Федя просыпался в мучительной голодной тоске.

Была ночь. Которая по счету в лесу – Федя не помнил. Третья или четвертая. Он быстро слабел и теперь долго и крепко спал, не обращая внимания на лесные шумы.

Он проснулся от громкого и злобного лая Восяя. Федя приподнял тяжелую голову.

Был мутный рассвет. Мелкий дождь уныло моросил с холодного серого неба. Лес нахотился и стал темным и зловещим.

В пятидесяти шагах от Феди Восяй с поднявшейся на спине дыбом шерстью старался преградить дорогу большому бурому медведю. Медведь был облезлый, худой и голодный. Он вышел из чащи и, обнюхивая землю, шел к Феде. Его маленькие черные глаза смотрели на мальчика, и он то лапой, то мордой откидывал в сторону собаку. И пока собака оправлялась и вскакивала, медведь валкой побегом пробегал шагов десять, приближаясь к Феде. Но на него снова со злобным лаем кидался Восяй, старался схватить его за бок или за гачи²⁴, и медведь опять останавливался, приседал и ловким ударом лапы отшвыривал собаку далеко от себя.

Федя сознал опасность и вскочил на ноги. Смертельный ужас заставил его позабыть усталость и голод. Сзади него была сосна с высоким и прямым стволом. Федя бросился к ней, влез до первых ветвей и притаился на них.

Медведь, занятый борьбой с Восяем, проглядел, как Федя лез на дерево и теперь оставался, как бы недоумевающий, куда он давался. Восяй продолжал прыгать подле него, злобно на него лая.

Тогда медведь бросился на собаку. Восяй увернулся, стараясь ловкими прыжками отвлечь медведя от дерева, где скрылся Федя. Но расвирепевший медведь стал необычайно ловок. Он настиг Восяя, быстрым взмахом обеих лап, как бы обнимая, подмял под себя, Восяя. Федя услышал жалобный визг, потом все стихло.

Ни о чем другом не думая, как только о том, чтобы спасти Восяя, Федя спрыгнул на землю, выхватил нож и побежал на медведя.

Медведь сейчас же оставил Восяя и, поднявшись на задние лапы, пошел навстречу Феде. Зажмурив от страха глаза, выставив вперед руку с ножом, Федя бросился на медведя. Человек и зверь сплелись в страшном смертельном объятии, и оба рухнули на землю.

* * *

Федя очнулся от прикосновения чего-то теплого и влажного к лицу и к плечу. Это прикосновение было болезненно и в то же время успокаивало едкую, саднящую боль у лба и на плече. Он чувствовал во всем теле ледящую сырость все сыпавшего и сыпавшего мелкого дождя и ощутил терпкий запах медвежьего меха и крови.

Он приоткрыл глаза. И сейчас же увидел Восяя. Собака лизала ему лицо и плечо, разодранные медведем.

Сам медведь лежал подле с большим ножом, по самую рукоятку всаженным в его левый бок. Голова Феди была мутна. Слабость была большая. Мысль, сознание, соображение медленно возвращались к нему. Он ощупал себя. С лица кое-где была содрана кожа, и сочилась кровь. Плечо было разодрано медвежьими когтями. Федя снял шубу, кафтан, оторвал кусок рубашки и помочив в мокром мху, перевязал себе раны. Одевшись, он подозвал Восяя.

– А ты, Восяй?

²⁴ Задние ноги.

Восяй был весь изранен. Увидев, что его хозяин перевязался, что он шевелится, что он жив, Восяй стал весело лаять и прыгать подле Федей. Потом улегся и зализывал раны.

Большое напряжение, испытанное Федей, только что пережитая смертельная опасность вернули ему силы и заставили позабыть голод и усталость. Федей ласкал Восяй и думал о том, что же делать дальше?

Выходило не так плохо. Перед ним лежала громадная туша убитого медведя. У Федей были ножи, у него были целы трут и огниво. Медведь его накормит, медведь даст ему запасы на много дней, а там и – Волга!

– Живо! За дело!

Скорняцкая выучка сказала в нем. Он умело снял с медведя часть шкуры, отделил заднюю ногу, развел костер и наладил палки, чтобы жарить медвежье мясо.

Вкусный запах жареной медвежатины стал раздражать Федей. Он дождался, когда мясо было готово и приступил к обеду, бросая большие куски улегшейся подле него собаке.

И когда совсем насытился, устроился под деревом и стал мечтать о Волге.

XVII Волга

«Кормилица Волга!»... «Волга-матушка!.. Волга – мать родная... Волга – русская река! ...».

Москва и Волга в представлении Феде слились в одно. И обе были святы для него. Сколько раз в доме отца, человека ученого и бывалого, смотрел он на чертеж земли Московской. Как становой хребет или как некая животворящая жила, прорезывала Волга всю свято-русскую землю. Начиналась в глуши Валдайских гор, в зеленых, мшистых болотах, где светлым кипуном выбивается из земли ручеек и, огибая стороною Москву, текла на юг громадную рекою, пересекая целый ряд неведомых прекрасных царств. Царство Казанское, которое так доблестно завоевали в 1552 году Иоанновы дружины и где сражались его отец, Исаков и Селезнеев, Саратовские степи, полные разбойников и царство Астраханское.

Чего-чего не дарила Москве Волга!

Зимой вдруг длинными громадными колодами станут у лавок в рыбном ряду мороженые осетры, розовыми пластами ляжет искрящаяся опаловым жиром, точно прозрачная белуга, нарубленная толстыми полупудовыми пластами, в серых крепких бляшках на боках и спине навалена тонкая стерлядь, а в корзинах груды покрытых обледенелым снегом серо-зеленых с белым брюхом чернополосых судаков... Откуда?.. – с Волги!

Осенью, когда придут караваны барок с Оки – вдруг наполнятся лавки желтыми мылами, розовыми конфетами, кедровыми орешками, фундуками, изюмом, фисташками, всякими восточными сладостями, шелковыми тканями, золотыми вышивками, коврами, медной и глиняной татарской посудой, азиатским ладанным куреньем, – все с Волги, с нее кормилицы, с нее русской, родной реки!

Туда шли русские люди на смену татарам и оттуда возвращались крепкими, рослыми, могучими – богатырями – точно не водою, а материнским молоком кормила и поила их Волга-матушка.

Три с половиной тысячи верст протекала Волга и все по Московской земле!..

Сытый, отдохнувший, оправившийся от ран, полученных в схватке с медведем, Федя все это вспоминал, собираясь в путь – искать Волгу. Он отдохнул три дня, питаясь мясом медведя, дождался, что подсохли и зарубцевались раны, наваялил на дорогу медвежатины и бодро, окрыленный победою, веруя в то, что Господь и дальше защитит и охранит его, пошел на восток.

* * *

Это был очаровательный день! Рассвет загорался за лесом, и по широкому зареву солнечного восхода. Федя видел, что это конец леса – дальше была – ширь!

Оттуда тянуло таким нежным запахом водного простора, что Федя понял, что там Волга.

Федя встал со своего ночлега, шестого после того, как он покинул место, где убил медведя, и бодро зашагал вперед.

Лес подошел к крутому обрыву и кончился.

Густой туман лежал внизу и скрывал реку. Но она чувствовалась своим тихим, величавым течением. Иногда в тишину утра, войдет тихий всплеск волны. Точно внизу вздохнет река.

С сильно бьющимся сердцем, опираясь на выломанный сук, Федя стал сбегать по почти отвесной песчаной круче. Хватался за паутиной свисавшие с обрыва тонкие древесные корни, за кусты, за камни и катился, сопровождаемый Восъем, к реке.

Волга точно спала под тяжелым серым пуховиком тумана. За ним не было видно другого лугового берега, и бесконечная гладь медленно неслась мимо Феде и казалась безбрежной.

Под ногами у Феде был серебристый песок, изрезанный тонким кружевом волн. Лежали ракушки, обломки старого серого камыша. Грудь распирали свежим дыханием могучей реки.

Федя склонился к воде. В темных глубинах, как в зеркале, отразилось его черное, загорелое, прокопченное в дымах костров лицо с большим шрамом через весь лоб. Шуба и кафтан в лохмотьях, опорки, рваные онучи – все, как у нищего, у последнего человека, – и только сабля блистала на боку, как у дворянина.

Восяй вошел по грудь в воду и жадно пил.

– Восяй, – сказал Федя, – ты понимаешь – это Волга! Это волжская вода!

Восяй оторвался от воды и посмотрел на Феде умными глазами.

– Ты рад? – как будто бы сказал он. – Ну и я рад. Твоя радость – моя радость. Ибо я твоя собака!

Федя вымылся в ледяной воде, выстирал лохмотья своей рубахи и, пока она сохла, лежал, закутавшись в шубу под лучами поднимающегося солнца.

Что будет дальше, он не думал. Он дошел до Волги. На Волге он найдет добрых людей, которые доставят его к Строгановым.

Христово имя накормит и проводит его опять.

Над его головою, в лесу, пели птицы. Перед ним, каждое мгновение меняя краски и очертания, разворачивалась никогда не виданная им картина могучей реки. Туманы таяли под солнцем. Уже стал виден вдали широкий разливом покрытый берег. Опушившиеся зеленью ветлы вениками торчали из воды. За ними была бескрайняя ширь, синяя, сливавшаяся с быстро синевшим небом. Туман белыми тонкими простынями еще лежал кое-где над ставшей лилово-синей рекой.

Вдруг тут, там ослепительно яркими огоньками вспыхнула подымавшаяся по реке рябь, ветерок разогнал остатки туманов, река просветлела, и точно улыбнулась, сделавшись серебристо-белой. Синь осталась только вдали. Середина горела на солнце и часто тут и там вспыхивали яркими огоньками переплески крошечных волн.

Белые чайки с резким чаканием носились над рекою.

Волга неслась перед Федей тихая, немая и совершенно безлюдная.

XVIII

«Випп – вупп»...

Целый день просидел Федя на берегу. Волга текла перед ним все такая же прекрасная, широкая, торжественная и безлюдная. Ни один корабль, ни одна баржа или лодка не показались на ней. Точно из неведомого, безлюдного царства выходила она и в такое же неведомое царство исчезала.

Река текла с запада. В ее верхнем течении образовалась широкая заводь, покрытая старым сухим камышом. Перед закатом там зарозовела вода, отражая небо. Стая белых лебедей опустилась туда и скрылась в камышах. Тише становилось на реке. Плеснет на стрежне большая рыба. Стеклянным, прозрачным звуком донесется этот плеск до Феде, и опять молчаливо величественное стремление водных просторов. Сладко кружится от него у Феде голова.

Вдруг разом, чем-то потревоженные, трубным возгласом загыкали в камышах лебеди, снялись с воды и потянули на север. И был в этом внезапном полете какой-то знак предупреждения.

Восяй, лежавший подле Феде, насторожился и приподнялся на передние лапы. В тишину наступавшего вечера по задремавшей реке понеслись слабые мерные звуки.

– «Випп – вупп»... – небольшой промежуток тишины – и опять – «випп – вупп»... и снова через такое же время – «випп – вупп».

Только люди могли производить такие мерные звуки. Еще ничего за поворотом реки не было видно, а уже стал слышен звенящий шелест раздвигаемой волны.

Федя напряженно вглядывался в золотистую даль реки. Там пламенело небо. Красное солнце прозрачным громадным шаром опускалось к реке и слепило Феде глаза.

Отчетливее были мерные звуки, легкий скрип и шелест воды. Вдруг ясно по реке донесся приятный нежный мужской голос. Он казался совсем близким. Слова легко было разобрать.

Вниз по Волге-реке
С Нижня Новгорода!.. —

пел тот голос.

И разом грянула хоровая песня:

Снаряжен стружок,
Как стрела летит!

Совсем неожиданно, и не там, где думал увидеть певцов Федя, из-за поворота реки выдвинулась большая темная одномачтовая лодка. Паруса были убраны. Косая рея чуть колебалась при напоре весел. В восемь пар гребли на ней гребцы, и скрип деревянных уключин мерно, в лад вторил песне: «випп – вупп».

В лучах заходящего солнца ладья казалась позолоченной, и огневыми искрами спадала с весел вода. Уже хорошо стали видны гребцы. В пестрых рубахах, рваных бараньих и собачьих шапках, кто в накинутом на плечи рыжем заплатанном азяме, они гребли привычными руками под лад песни, которую пели на корме вооруженные пищальями и луками с колчанами стрел люди. Красные саадаки²⁵ луков сафьяновой кожи, золотом и серебром горевшие сабли на боках

²⁵ Саадак – чехол для лука из тонких досок или кожи.

у стоявших и сидевших людей не соответствовали их бедной и рваной одежд, и Федя догадался, скорее, почувствовал, что это шла по реке разбойничья казачья вольница.

Его еще не увидели. Он взял Восю за ошейник и втянул его, скрываясь в кустах.

Лодка быстро приближалась, спускаясь вниз по течению. Нужный, за сердце хватаящий и точно печальный в прохладе угасающего весеннего дня голос продолжал петь. Каждое слово было отчетливо слышно Феде.

А на том, на стружке,
На снаряженном, —

четко выговаривал запевала, и хор ответил ему:

Удалых гребцов
Сорок два сидит.

Песня влекла и тянула Федю. Вся тоска долгого одиночества в лесу поднялась в нем и залила его сердце страстным желанием соединиться и быть заодно с этими, из неведомой дали появившимися и в неведомую даль уплывающими людьми. И, будто приглашая Федю и представляясь ему, отчетливо и веско бросил запевал:

Удалы те гребцы —
Казаки стародавние, —

и хор ответил, мягко замирая:

Атаман у казаков
Ермолай Тимофеевич...

«Ермолай Тимофеевич», — думал Федя. Тот самый Ермак, о ком зимним вечером рассказывал Исаков и к кому с того рассказа непонятным образом тянуло Федю. — «Ермолай Тимофеевич здесь, на этом мимо плывущем струге. Не судьба ли это указывает мне, куда идти?.. Воры-казаки... Да ведь люди же».

Уже почти напротив Феде была лодка. Усталые гребцы сушили весла, и, отдаваясь течению, ладья плыла тихо, приближаясь к Феде.

Есаул у казаков
Гаврила Лаврентьевич...

Ясно стали видны богатые сабельные уборы на казаках. На корме грудой были навалены дорогие меха. Насыпаны вповалку, видно, поспешно выкинутые из деревянных ящиков.

Еще не замер в воздух голос запевалы, как Федя вышел из своего укрытия, замахал шапкой и что было мочи крикнул:

– Братцы!.. Родимые!.. Спасите!.. Христа ради!

Хор не продолжил песни. Казак на кормовом весле спросил что-то у сидевшего под ним чернобородого худого казака, одетого богаче других, и лодка, описывая плавную дугу, направилась к берегу.

XIX

Собачья наука пригодилась

Казачи выпрыгнули на берег и окружили Федю. Смущенный Восяй жался к Федеиным ногам.

Загорелые, черные, с растрепанными ветром бородами, молодые и старые, широкогрудые, сильные, они разглядывали без стеснения Федю, как какое-то заморское чудо.

– Что за человек? – зычно крикнул один из казаков.

– Я купец... Купеческий сын...

Краснорожий молодец, совсем юноша с едва пробивающимися над пухлой черной губою светлыми усами бросил скороговоркой.

– А ты чей молодец?.. – Торжковский купец. – А где был – в Москве по миру ходил!..

– Га-га-га-га! – загрохотали буйным смехом казаки.

– Ловко Меркулов уклеил... Купец! – рожа-то самая купецкая!.. Где раны получил?

– Это меня в лесу, – смущенно сказал Федя. – Медведь задрал...

– Охотник что ль? – спросил первый.

– А саблю у кого украл? Гляньте, братцы, какая у него сабля.

Из лодки степенно вышел чернобородый казак. Обступившие Федю казаки раздались и примолкли с тихим шепотом: «Атаман!.. Атаман!».

Федя снял шапку и стоял перед высоким и худым казаком в чистой белой рубахе, в кафтане наопахь и сапогах красной кожи.

– Чей ты? – негромким голосом спросил атаман.

– Я – Чашников, – и Федя, смущаясь, заикаясь и повторяясь рассказал всю свою историю от самого пожара, до того, как он дошел до Волги. Он достал из-за пазухи потемневший сверток алого шелка и вынул оттуда бумаги – письмо к Строгановым.

Атаман внимательно выслушал Федю. Толпившиеся кругом казаки, казалось, были тронуты злостью юноши.

– Малый какой, – сказал кто-то в толпе, – а чего, чего не повидал на своем веку.

– Тому латышу горло надо перегрызть, – заметил Меркулов.

– Они такие... самые предатели!

– Что ж! – не возвышая голоса, покойно и властно сказал атаман. – Как положите, атаман-молодцы, доставим молодца к купцам Строгановым?

– Отчего не доставить?.. Доставим... Не обьест, не обопьет нас.

– В добрый час!

– Атаман, – блистая навернувшимися на глаза слезами благодарности, сказал Федя, – разреши мне и собаку взять?

Атаман еще ничего не ответил, как загудели голоса:

– Чего там собаку! На что она!

– Пес поганый на ладью с иконами...

– Ладья, что церква, нельзя туда, атаман, пса пускать.

– Нет, – строго сказал атаман, – я не могу пустить пса на ладью. Казаки против этого.

Ступай, садись,

– А как же собаку? – молвил Федя.

– Да хвати ее, Меркулов, за задние ноги да шваркни затылком о землю, чтобы дух вон!

– Ишь какой боярин!.. Его самого спасают, так ему еще и собаку надо!..

– Ну, айда! – прикрикнул на Федю атаман.

– Атаман! она у меня учена!..

– У нас тут, брат, не ярмарка, чтобы ученых собак на игрищах показывать! – сказал краснорожий казак.

– И мы не немцы или геновейцы²⁶ какие, чтобы такой пустяковиной заниматься.

– Атаман, – плача, говорил Федя, – позволь показать, что она умеет.

– А ну, пусть покажет, прикончить всегда успеем.

Лодка стояла у берега. Ее корма, где навалены были меха, упиралась в песок. На лодке никого из казаков не было.

– Восяй, – показывая рукой на меха и на атамана, сказал Федя, – принеси атаману лисицу.

Восяй проскочил мимо казаков на лодку, разметал мордой звериные шкуры и, схватив алый лисий мех, принес его атаману.

– Ах ты! – раздалось в толпе...

– Вот так пес!.. А ну-ка еще чего?

– Восяй, подай атаману соболя.

Собака без ошибки достала и принесла связку соболей.

– А еще, – ревели, хохоча, казаки.

– Восяй... куничку!

Восяй прыгнул в лодку, мордой разметал все меха и стал у борта, лая, точно что спрашивал.

– А ведь и точно... Куницы ни одной в добычу не попало, – сказал молодой казак.

– Ну и пес!.. Такого пса точно на ярмарке можно показывать.

– Ну, – сказал атаман, – побаловались и буде... Айда на лодку.

– А собака?..

Никто ничего не ответил. Меркулов взял Федю под локоть и повел его, поталкивая на лодку. Остальные казаки толпой разом вспрыгнули за борт и разместились по скамьям. За Федей, незаметно в толпе казаков прыгнул в ладью Восяй и улегся комочком под его ногами.

Ни атаман, ни казаки не сказали ни слова. Точно не видали собаки.

Рыжий молодец отпихивался шестом от берега. Днище лодки скрипело по песку. Лодка мягко колыхнулась на глубокой воде. Казаки разобрали весла.

– На воду! – приказал атаман.

Мерно скрипнули весла у деревянных уключин, лодка понеслась по темневшей реке. За спиной у Феде молодой казак завел песню.

– Гей вы думайте, братцы, вы подумайте,
И меня, Ермака, братцы, послушайте.
Зимою мы, братцы, исправимся,
А как вскроется весна красная,
Мы тогда-то, други-братцы, в поход пойдем...

Мерно, в лад песне поскрипывали весла у деревянных уключин: – «випп – вупп... випп – вупп»...

²⁶ Геновейцы – генуезцы, моряки, жители итальянского города Генуи. Их видали казаки в Малой Азии и в Крыму.

XX

Воры – казаки

Ночь шли молча, без песен. Холодную сыростью тянуло от реки. Гребли осторожно, чуть-чуть. Не скрипели уключины. Свободные казаки притаились за бортами лодки. Пищали и луки были наготове. Маленькую чугунную пушку, стоявшую на носу будары²⁷ зарядили каменным ядром. Атаман Никита Пан зорко вглядывался в темноту.

На низком луговом берегу показались холмы, поросшие лесом. Еще тише стало на лодке.

Федя, напряженно смотревший туда, куда глядел атаман, увидел на темном небе восточный рисунок громадной башни и белые стены с бойницами новой крепости.

²⁷ Будара – большая ладья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.